

Виктор УРАЗБАЕВ

**ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

Виктор УРАЗБАЕВ

В дар центральной библиотеке
от автора. У. С.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рассказы

г. Кумертау



Это вторая книга поэта, прозаика и переводчика Виктора Уразбаева. Первая книга стихов «В крови-то – море!» вышла в Кумертауской городской типографии осенью 2007-го года.

Уразбаев Виктор Зигангирович родился 1 июля 1947 года на Дальнем Востоке в семье кадрового офицера и учительницы. Учился в авиационном техникуме, в военном училище. Окончил мореходное училище. Долгие годы, до выхода на пенсию, рыбачил в дальневосточных морях.

Сюжетной канвой рассказов у автора является или услышанное им от близких людей, или пережитое самим.

Сейчас автор живёт в г. Кумертау, является членом Кумертауской писательской организации.

СЕМЬ КРУГОВ АДА

ЛЕГЕНДА

Пуля, выпущенная чуть ли не в упор, разворотила плечо. Сабля выпала из левой руки. Правая, висевшая плетью, уже не кровоточила. Леденеющие губы смогли лишь обозначить: «Туксаба, дети мои, туксаба»...

Коня намётом уходили в степь. Три коня, три всадника. Дальше, дальше от кровавого побойща. Три всадника – это всё что осталось...

– Держитесь, Абыз!

Старого воина телами подпирали два оставшихся в живых телохранителя, два его сородича, два брата-близнеца.

Один из братьев прохрипел: «Не спасём!» Другой ответил: «Спасём, брат!»

Степь окуналась в сумрак. Всадник, который посередине, всё чаще и чаще стал клониться на гриву усталого коня. Завидя это, спутники попрдержали бег своих коней. Затем осторожно сняли с седла старого воина, положили его на землю. Абыз был в сознании.

– Дети, похороните в этой степи. Если... если, волею Всевышнего... останетесь живы, то кольчугу мою, кольчугу... отдайте кому-нибудь из родичей...»

Так ли это было на самом деле или не так, Бог ведаёт. Этот рассказ, похожий на легенду поведала мне незабвенная Гафия Янтуровна Арсланова, моя бабушка. Когда я был мал, она мне сказывала: «Вот подрастёшь, сынок, я покажу тебе ту кольчугу, кольчугу твоего предка. Волею судеб, я её не смогу увидеть. А в том, что она существовала – уверен».

СЕМЬ КРУГОВ АДА

Рассказ-быль

Памяти Муялаяна Хакимова

«Эх, сынок, не всё так было просто...», – собеседник мой замолкает. Пламя костра причудливыми полутенями то удлиняет и без того худощавое его лицо, то, как бы смазывая всё сказанное, отбрасывает его в тень. «Мне пришлось пройти семь кругов ада...» – говорит он тихо, так тихо, что выстрел уголька костра больно отдаётся в ушах. А в висках – молоточками: «Семь кругов, семь кругов ада!»

Собеседник не велеречив. Тяжело, натужно подбирает слова, но его фразы мельничными жерновами, со скрипом, мелют и мелют горькую муку воспоминаний. Горькую и для него, и для меня – невольного слушателя.

«Я ведь – кадровый. Финскую встретил отделённым. Не хочу и не буду судить о финнах; как о плохих вояках. Хорошо они воевали – сужу об этом... да что, там говорить! – собственной шкурой это прочувствовал. В той ночной вылазке (какой по счёту?!), я потерял всё своё отделение. Очнулся не от боли. От стужи. Чувствую – замерзаю. Хочу пошевелиться – не могу. А губы горят. Под утро, видать, морозу поубавилось, и пошёл снег. Тает он на лице. Слизываю я капельки влаги, а во рту сухо, жарко – и тело непослушное. Пытаюсь его оторвать, приподнять, а руки (действуют, действуют!), только царапают почему-то красный вокруг меня лёд.

Терял сознание, приходил в себя, опять терял...

На вторые, что ли, сутки меня обнаружила похоронная команда. Топорами из льда вырубали. Не застопни я в тот миг – крышка! Потом они уже остороженько ножами стали срезать мое, пропитанное кровью, а потому пристывшее в снегу обмундирование. Оказывается, три атаки прокатились надо мной. Не будь последняя удачной – замёрз бы. А так выжил. И не думал, что это только первый круг, но по молодости таковым не казался...

Забыта уха, забыта фляжка с водкой, да и костерок притих, словно прислушиваясь.

«Второй круг?», – как бы очнувшись, спрашивает мой собеседник «Это ноябрь 41-го. Смоленский лагерь военнопленных».

«Как выжил? Сам не знаю. Мёрзлую землю жрал. Да и жену хотелось увидеть. Я ведь после финской женился...

Бежал я в грозовую ночь. Ноябрь, мокрый снег – и гроза! Труп мне помог. Лежал он у второго ряда колючки. Я ещё раньше заметил: постреливает по нему пулемётчик с вышки, то ли потехи ради, то ли руку набивает: только я подполз к трупу, дождался очереди (а ведь могла быть и моей!), проволоку, чуть ли не зубами перегрыз и... ходу!

А судьбе убегать не надо. Она на твоих плечах сидит. Вот я и не убежал – судьба! Ну, это уже третий круг ада...

Бреду я в степной круговерти. Куда? – не знаю. Зачем? – тоже. Сейчас, может и ответил бы на эти вопросы. Да и тогда «наверное, знал ответы: дойти к людям, оклематься и... кос у кого потребовать ответа за свои унижения. Н-да! Бреду. Голод стал (почему «стал»? –

он был, он требовал своё (каждым кусочком тела!) невыносим. Да ещё – холод... А что на мне? Гимнастёрка, пилотка с опущенными отворотами. Нательное всё сгнило. Другие в лагере напяливали на себя все, что съмут с умершего, а я не мог, не мог и всё! Правда, шинельку с дырищей чуть ли не во всю спину – надел. Вот бреду я, сосулька-сосулькой, то ли теряю сознание и брежу, то ли наяву: «Стой! Кто таков?» Без сил опустился на снег – свои!.. А «свои» пинками подняли, руки выкручивают, матерятся: «Да кто вы?» – шепчу. «Ета, – отвечает один из «своих», – мы, ета, отряд самообороны. Село от бандюков, вот ета, таких как ты, сторожим. «Братцы, а же – советский, с лагеря сбежал!» Думалось мне тогда: я – советский, и все вокруг меня тоже советские, – свои, значит. Те, к кому я попал, были и ни те, и ни другие. Аллах их разберёт! Долго рассказывать, что было дальше... «Самооборонщики», накормив, отвезли меня под утро в какое-то большое село, там, с рук на руки, сдали тем же "самооборонщикам" рангом выше, а те... Смутно помню чёрные немецкие мундиры, потом боль, боль...

Очнулся в вагоне. Я, почему-то, не лежал, а стоял, вернее, не стоял, а висел, спрессованный со всех сторон телами. Поезд куда-то спешил, а колёса: «Ум-решь-ум-решь-ум-решь». Рельсы начинали накручивать четвёртый круг. Этот четвёртый – самый страшный...

Начинался он для меня с железных толстых ворот старинного Каунасского, что в Литве, форта. Самое трудное – ну, как тебе объяснить? – недвижение или правильное, недвижность, бездеятельность! Руки-ноги еще в состоянии что-то сделать – а вот душа... Пал я, было, духом, когда попал в каменный мешок этого форта. И мыслишка появилась спасительная – кончить эту жизнь! Как? Умереть там было – как два пальца обмочить, а вот выжить...

Из форта на работы выводили небольшими группами: в карьер (ослабевшие там и оставались – трупами), на станцию – разгружать вагоны с тяжёлыми, крепко сбитыми ящиками из Германии и изредка – на мызу (усадыбу) какого-нибудь барона. Охрана – эсэсманы с собаками. Сбежать?.. собак больше боялись, чем их хозяев, – звери! Хозяин, было, отвернётся от колонны, начнёт прикуривать сигаретку, поводок приотпустит, и... крик задавленного этой псиной человека. А охранник – та же зверюга! – оттащит пса, а того «лежащего пристрелит из милосердия».

При попытке к побегу (частенько надуманной самой охраной), каждого третьего из колонны выводили на центр площа и «торжест-

венно», на виду оставшихся в живых, расстреливали! Вот и выходило: захочешь умереть сам – тащи на тот свет и своих товарищей. Тут подумаешь...

В жилых блоках форта (в каменных казематах) жизнью твоей распоряжались «капо». Эти уголовники, нашего брата-военнопленного не щадили. Ходили они с резиновыми шлангами, залитыми свинцом. Ударит таким по башке – серые брызги.

Через полгода пребывания в «мешке», почувствовал: дохожу до точки. В общем, слушай...

Кроме нас, военнопленных, в форте было много евреев. Их семьями, колоннами пригоняли в лагерь. Что творилось в тех блоках, где они жили, знал лишь понаслышке (от нас они были отделены рядами колючей проволоки), но то, что слышал, – это, сынок, страшно!

На работы их не выводили. Видел, правда, как большая группа евреев ползала по центральному плацу (обычно перед каким-нибудь «торжественным мероприятием») и вылизывала языками камни брусчатки.

Погибших евреев «хоронили» только военнопленные. Те, кто попадал в команду «доходяг»...

Попал-таки в «похоронную команду» и я.

С утра, после лагерного построения и «завтрака», мы через открытые в «колючке» ворота должны были пройти в блок к «юден»; специальными крючьями стаскивать с нар умерших и волоочь их в определённое место в каком-нибудь из закутков форта. Под усиленной охраной СС, у трупов вырывались золотые мосты, коронки, колёца. Всё это сыпалось в ведра у ног охраны.

Сложенные штабелями трупы засыпали негашеной известью: ряд за рядом, штабель за штабелем.

Похоронная команда имела одно «преимущество»: сможешь затащить труп на штабель – ты жив, не можешь – ляжешь туда сам. Когда-никогда, а известью и тебя посыпят. Немцам ведь свидетели не нужны!

Зная это, на вторую ночь я рискнул: из-под носа охранника выхватил из ведра горсть коронок. Глотал это золото, давился... Да! Спасли эти коронки. Как доволз под утро до ревира – Аллах ведает!

Врачи там были все из наших – военнопленных. Кое-как одному из них (в годах он был), разъяснил, что не тиф, мол, не дизентерия – золото в желудке. «Не веришь, – кричу, – режь желудок!»

Поверил. Дал слабительное. Не знаю, зачем ему эти коронки, но

я под чужим номером остался в лазарете санитаром. Тот, прежний я — умер, а этот, новый, стал думать о жизни. Худо-бедно, а в реви́ре оклемался. Мысль о побеге из форта подал мне один старик-литовец. Появлялся он на территории лазарета внезапно и внезапно исчезал в одном из подвалов. Его резиновые сапоги и плащ пахли нечистотами. Проследил я за ним, понял — это шанс!

Как готовился к побегу, как выкраивал каждый кусок брюквы, каждую спичкину. — моя боль: обо всём не расскажешь; и как полез среди бела дня в тоннель с дерьмом, как шёл по лабиринтам, задыхаясь от вони, скользил, падал, глотал это дерьмо... Когда силы уже были на пределе истощения, уткнулся в решётку, с которой жижа стекала в Неман. А за решёткой — воля!

Проржавевшие прутья не выдержали моих слабеньких усилий. Уже стемнело. Отмылся в реке и на ощупь стал пробираться вверх по течению. Подальше, подальше от этого ада, ведь впереди... А впереди ждал пятый круг.

Инстинкт самосохранения подсказывал одно: держаться подальше от реки; желудок — другое: а вдруг какая-никакая дохлая рыбёшка на берегу? Да и через Неман надо было как-то перебраться. Переплыть реку сам уже не смог бы — шёл пятый день после побёга.

Плёлся, то удаляясь от берега, то приближаясь к нему. Несмотря на лето, ночами я мёрз. Не от того, что от реки тянуло сыростью, — кровь не грела.

В тот бор на холме я забрёл на исходе пятой ночи. Рассветало. Запах дыма перебил острые запахи соснового леса. Дым. Жильё. Люди. Пища... В скукоженном желудке — раскалённые камни. Они перекатываются, ползут к горлу. Полежал, преодолевая слабость, и пополз на запах дыма. На поляне, усыпанной валунами, стоял хутор: три каменных строения, обросшие по стенам и крыше мхом. Весь день пролежал в кустах на опушке, наблюдая за хутором. Несколько раз во дворе показывалась женщина то с вёдрами, то без них. Глаза слезились, я не мог разглядеть её чётче. Кажется, немолода. Одета в длинную, домашней вязки, юбку; на голове — тёмный платок, на ногах — грубые башмаки. К вечеру она вышла с вёдрами и направилась... в мою сторону. Когда она поравнялась с моим укрытием, я тихонько окликнул: «Мать!» Приостановилась, словно ничем не удивлённая, повернула ко мне голову; кивнула ему приглашающе и пошла дальше, вглубь леса.

Мне осталось тяжело приподняться и, цепляясь за кусты и де-

ревья, следовать за ней. В чаще был сооружён из жердей то ли загон, то ли хлев. «А, так она тут скотину прячет!» — догадался я. И как бы в подтверждение, внутри строения обрадовано взмыкнула корова.

Сил больше не стало, я упал. Очнувшись от тёплой и до боли знакомой пахучей струйки, что лилась мне в рот: молоко! парное молоко! Голова моя на коленях этой странной женщины. Но сейчас не до неё, всё внимание на белую живительную влагу... Женщина с трудом высвободила кружку из моих, адруг ставших цепкими, рук. Вовремя: меня стало выворачивать наизнанку...

Неделю провалялся я в закутке этого убежища для животных. Неделю, по два раза в день, приходила женщина в грубых башмаках и кормила меня. На вопросы мои не отвечала. Немая? Но ведь я слышал, как она тихо и ласково разговаривала с коровой. Сколько ей было лет: тридцать? пятьдесят? семьдесят? Не знаю, как не знаю имени её. Кто она: литовка, полька? Не ведаю. Но то, что она — женщина с сердцем, — это факт! Как-то она приподнялась. Уже стемнело. Появилась в моём закутке с двумя свёртками. Одни молча кинула мне и вышла.

В свёртка была старенькая, но чистая, аккуратно чиненная одежда, а главное — добротные, на толстой подошве, сапоги! Сына? Мужа? Брата? А, может, рискуя жизнью (кому? зачем?), выменяла на продукты? Этого я, наверно, никогда не узнаю.

Переодетого, со свёртком еды, потащила она меня за руку в темноту. Шли долго. По свежесму ветерку, по запахам понял: подходим к реке. По каким-то, известным ей, приметам довела она меня в камышовых зарослях до маленькой лодки. Указала рукой на реку и исчезла.

...Подвела меня борода. Чёрная и закурчавившаяся, она привлекла внимание немецких обозников, приехавших за продуктами на мызу, где я, под видом глухонемого, подрабывал к хозяевам косить сено. С криками: «юден, юден!» — они окружили меня и, дёргая за бороду, толкая прикладами винтовок, повалили на телегу.

Напрасно в комендатуре уездного городка пытался я доказать, что вовсе не «юден», а «пюрк». Не поверили.

Через день, с этапом евреев, под охраной эсэсовцев с собаками; я был втиснут в вагон. Эшелон, набирая скорость, понёсся на запад, в неизвестность.

Уже на территории Польши (узники, стоявшие у зарешеченного, опутанного проволокой, окна сообщали названия станций) поезд

с заключёнными и охраной в кромешной темноте вдруг вздыбился, вагоны, налезая друг на друга, стали валиться с насыпи...

Диверсия ли поляков, налёт ли «союзников», оплошность ли машиниста...

Я не знаю, как вылетел из вагона. Трахнуло о землю так, что на какое-то время лишился сознания. Очнувшись, пополз прочь. Сзади что-то горело, доносились крики, стоны. Слышалась стрельба. Очевидно, уцелевшие охранники добивали оставшихся в живых, пытавшихся выбраться из мешива досок, крови, металла.

И вот ползу я, сынок, след кровавый оставляю: «Дальше, дальше от этого ада!» Куда ползу, не кручусь ли на одном месте — кто ответит? А инстинкт свой своё дело делает — скрывается, залезть в любую норку, выжить.

Ползу, а молитва одна: «Дождя бы!» Знал: с ближайших разъездов уже летят дрезины с карателями, ну а при них — собаки...

То ли всевышний, то ли случай, но обрушился такой ливень, что я в очередной канаве чуть не захлебнулся. Перед рассветом зарылся в кучу палых листьев где-то в лесу. Задремал тревожно и болезненно. Прервал мой мучительно-тяжкий сон грохот в ушах. Прodelал дыру в своём лежбище и... чуть не заорал: я, оказывается, лежал на краю лесопосадки! А рядом — дорога, очень оживлённая дорога, покрытая булыжником. За дорогой — такая же узенькая лесопосадка, сквозь неё смутно виднеется поле, а далее — то ли лесополоса, то ли рошица...

Мучительный был этот день. Не шелохнуться под кучкой листьев: шоссё-то — вот оно, враз обратят внимание.

Лежал и прикидывал: что за меня, а что — против. За меня: все-таки от «железки» ушёл. Против: ушёл-то недалеко, а Польша — не Родина. За: но ведь поляки — славяне, против: но ты же не славянин. За: но ведь я же — человек!

Но я, сынок, всё-таки, решил так: «Себя не выдавать, сколько можно идти или ползти на Восток. И я шёл. Питался тем, что мог украдкой нарвать в огородах или украсть в погребах. Ох, как донимали собаки: поднимут гвалт — ну живым не быть! Мнилось мне тогда сгоряча: выживу — истреблю это подлое племя...

Да и сам я стал зверем: чуял — где, когда и как проползти, куда соваться, куда — нет. И знаешь, постоянно вспоминал добром ту литовскую женщину. Вспоминал и за салоги. Крепко же они меня выручали.

Моим скитаниям шла уже третья неделя. Определить где я: в Польше или в Белоруссии, было трудно. Начал я сдавать: всё-таки на подножном корму, а я не конь на тебенёвке. Всё чаще — безразлично, всё чаще — желание лечь и — будь что будет! В такие минуты сожалел о том, что не пристукнул в скитаниях какого-нибудь фрица да не вооружился. Не пристукнул... Трусил? Да нет! Просто, шёл к одной цели — к своим. А лишний шум, он, как в разведке, лишь на крайний случай...

Лесная убогая белорусская деревушка. Домов пять-шесть, от силы. Вот к крайнему-то дому, очень плохенькому (даже по нашим степным меркам) я и приткнулся. Мысль-то ведь какая была: раз бедняк, значит товарищ. Подполз к оконцу, что на лес шурится, поскрёбся, попытался голос подать, но тут — искры из глаз и... темень.

То ли тряская лесная дорога, то ли отчаянный скрип несмазанных колёс, но я стал приходить в себя. Неотступно болела голова, а при каждом наезде на корневища, что опутали лесную дорогу, она билась о доски телеги. На передке, сквозь кровавый туман, замаячила фигура возницы. Руками и ногами не пошевелить: кажется, связаны.

На спине возницы австрийский кавалерийский карабин, на голове сидящая на ушах немецкая пилотка, чёрный мундир полиция (как я узнал впоследствии) опоясан нашим комсоставовским ремнём. Судя по плечам и спине, мой охранник молод и силен. Захотелось, взвять от злости: столько промучиться, столько пройти — и опять попасть.

Волосы, слипшиеся от крови, колтуном елозили по днищу телеги. В голове тягуче: «Видать, этот хмырь заметил меня ползущим из леса и подкараулил за углом. Но ведь надо же! Сам полез в гости к полицию, — обида перешла в безразличие — А! Всё равно — смерти!»

Телега резко остановилась. Заверещал зайцем возница. Мельком я увидел крупы коней, окруживших телегу, чьи-то руки, тянувшиеся к карабину моего охранника. Померещилось? Сознание меня оставило...

Всадники не привиделись. Были это партизаны. Всамделишные. Наши. Советские. Один из них, подкладывая мне под голову что-то мягкое, сказал: «Ничё, братка! Оклемаешься. У нас врачи...»

Наконец-то судьба смиловилась надо мной — у своих!

Две недели партизанского лазарета — и я был в строю. А салоги меня ждали. Те — литовские. На вопрос: «А что с конвоиром-

полицесм?» — седоусый истопник, дед гренадёрского роста, гъркнул на всю землянку: «Га! Как собаку...»

А наткнулся мой незадачливый охранник на взвод конной разведки партизанского отряда «Батя», что рейдировал по всему лесисто-болотистому Ушачьскому району Белоруссии!

В партизанский быт вошёл сразу: готов был к этому своими долгими мытарствами. После беседы с «Батей» и его начштаба, определён я был во взвод моих спасителей — в конную разведку (отепняк-лошадник да и кадровый военный). По первости опекали меня ребята: лез напролом, в душе-то столько накопилось!..

Летом 43-го, перед Курской битвой, отряд наш преобразовали в бригаду. «Бате» дали полковника. Я стая взводным сформированной роты конной разведки.

Разведка — не только «глаза и уши», тут и охрана связников и «почтовых ящиков», и обеспечение бригады провизией, оружием, боеприпасами, и распространение листовок и партизанской газеты, и (после установления связи с Москвой) охрана партизанских аэродромов. На наших же плечах лежала охрана разных совещаний, собираемых секретарями подпольных комитетов, командирами отрядов, да и минёры, что шли на «железку», — их приходилось прикрывать, частенько отвлекая фашистов на себя. И карательные акции были у нас... Но тут, сынок, замечу: легче бой принять с отрядами СС, чем выводить из хаты, под вой жены и детишек, какого-нибудь Юхима с полицейской повязкой, забитого донельзя и «нашими» и «вашими».

В общем воевал. И не хуже других. Аккурат перед Новым, 44-ым годом, зачитали нам приказ из Москвы: «Бате» — полковнику Игнатову — звезде Героя. Наших тогда наградили многих. Ушам не поверил, когда услышал, что и я награждён орденом Красной Звезды, и мне присвоено звание «мл. лейтенант»!

А с тем орденом вот какая история! К нему — ордену я был представлен ещё в марте 43-го. За радистку. Прислали её из штаба партизанского движения. Прыгнула она с парашютом, а её далеко отнесло от того места, где мы её ждали. Двое суток по-чашобе лазили, чуть ли не по горло в снегу. Нашли москвичку. Цела и не замерзла. Подались на основную базу.

Уже, считай, дома были, осталось перемахнуть через речку Ушачь, а лёд-то подвёл: двое разведчиков по нему проскочили, а гостя наша московская — под лёд вместе с рацией! (гойорил я ей:

«Отдай ребятам свою «бандуру».— «Не имею права», — отвечает) Я, конечно, за ней в польню. Вытащил с помощью ребят. Ну а дальше: заставил, несмотря на её протесты, раздеться догола, раздел одного из разведчиков, что остался сухим, передел гостью и, чуть ли не пинками, погнал бегом в лагерь. Я ведь за радистку головой отвечал.

Год почти с орденом мурыжили: как же — был в плену! Ну это, сынок, так — мелкие обиды. А большие обиды были впереди...

Агентура наша стала сообщать о крупной акции немцев относительно молодёжи: намечался большой вывоз парней и девок в Германию. В свои опорные пункты фрицы начали подтягивать войска, туда же стали сгонять молодёжь с 13–14 лет.

Наше партизанское решение было таким: «Хрен им в дышло! Ни одного — в рабы к немцу!»

По опорным базам, железнодорожным узлам фашистов ударили всей бригадой. Бои завязались по всему Ушачьскому району. Вереницы саней с молодёжью, отбитой у немцев, под нашей охраной потянулись в партизанскую зону. Освобожденных в партизанском лагере скопилось до двух тысяч.

Немцы пришли в себя. Стали подтягивать не только крупные силы жандармерии, но и регулярные войска. Натиск их стал чувствоваться всё сильнее и сильнее.

Командованием бригады было решено: прорываться на соединение с частями Красной Армии. Готовился знаменитый «Ушачьский прорыв»...

Досталось нам тогда: немцы наседают, отрываемся от них с боями, а у нас обозы, растянувшиеся на несколько километров. Месяц пробивались.

Как-то под утро мои ребята доложили: встретились со своими, наконец-то!

Шёл март 44-го. Два с половиной года я ждал этого момента. Кадровый, партизанскую жизнь считал пусть хорошим, но временным эпизодом. А вот сейчас, мол, и начнётся настоящая жизнь! А жизнь... жизнь определила мне новый, шестой круг ада...

Эти две недели после прорыва были самыми напряжёнными. Для нас, роты разведки, особенно. Весь пройденный нами путь приходилось повторять помногу раз: туда-сюда, туда-сюда. Туда — с красноармейцами, сюда — с остатками нашей партизанской колонны. Вот уже апрель, а мы всё ещё бригада «Бати». В двадцатых числах (по-моему — 22-го) объявили общебригадное построение. Вы-

строились, как положено, поротно, побатальонно. Что-то из начальства не вижу ни «Бати», ни начштаба. Стоят группой военные, вижу среди них фигуру нашего комиссара, что-то то ли объясняющего, то ли приказывающего начальнику тыла бригады. Но не это удивляло — перед строем бригады развернулся в боевом порядке батальон красноармейцев, Намётанным глазом я усёк: пулемёты, скрытые передовой цепью. Ёкнуло сердце — быть беде!

Выступил комиссар. Из его скомканной речи я понял, что мы — мрлодцы, но!!! Потом армейский полковник «рубанул» кратко: «Мблодежь, — он так и сказал — мблодежь, котора достойна, значить, та — в ряды... А вашей бригаде — разоружиться. Как действующая боевая единица — вы не способны, так как — партизанщина». После разоружения, бригада была разделена на четыре группы и под охраной (конвоем!) красноармейцев пошла в тыл на так называемую «фильтрацию».

Вот уже май. Май 44-го. Так называемый «запасной полк». Колочая проволока. Пулемёты на вышках. Да!!! До зубной боли, знакомая картина. В офицерском бараке нас человек тридцать. Друг с другом общаемся мало. Так, «Курнуть есть?» — или: «Скорей бы на фронт!» Отбили охоту общаться местные особисты. Замучал меня один, сам молоденький такой, ну что тебе — девица красная! А глаза — рыбы, пустые. Уж я ему все дни свои маетные по полочкам разложил; он крутит и вертит: «Когда? Почему? Кому? Зачем?» Послал я его, вконец, куда подальше!.. Смотрю: сожители по казарме уходят с направлениями, сказав с порога: «Ну, я — на фронт!» Один уходит, другой, третий... а меня мурыжат. Надосело мне всё это. Кормёжка (даже по офицерской норме) — дальше некуда, да и эти пулемёты на вышках, хоть кричи: «Где ж ты, «Батя?» А ведь в партизанах (честно говоря!) — вольница. Там ведь как: неделю голодаешь (всякое бывает) — неделю ешь от пуза, да и дисциплинка — «Я тебе командир лишь на задании. Там: да — голову оторву за невыполненный приказ. А тут, в запасном!!!» Друг другу честь отдавай, каждый день строевые (это с офицерами, о рядовых уж не говорю) по несколько часов. Вбиваешь молодую травку в пыль, а в мыслях — там, за проволокой. Тяжело, ох как тяжело!

Приглянулся мне лейтенант-лётчик. Вижу — себе на уме. Скрипит зубами, молчит, только глаза посверкивают, да желваки так и ходят. Ненароком узнал о нём: был сбит, шастал в тылу немцев, прибился к партизанам, но не надолго: ушёл от них: «Летать хочу!»

Поделился я с ним пару раз куревом, да возьми и откровенно о себе и расскажи...

Тот долго молчал, а потом: «Что делать будем? Я тут уже не могу». А я ему: «Знаешь сказку о «Колобке»? Так вот: я от тех ушёл, а от этих...»

Ушли мы с ним (убёгли) из этого «долбанного» полка. Не знаю, как сложилась в дальнейшем его судьба, мы с ним разбежались. Он решил пробираться до ближайшей лётной части («...свои же — летуны, неужто не помогут?») А я же...

Пристал к одной из маршевых рот. На привале, честь по чести, доложил командиру, что рядовой (офицерские документы остались в запасном полку) такой-то сбежал из госпиталя, не дело, мол, в такое время по госпиталям валяться. И молоденький (только с курсов) комроты мне поверил. И не от того, что был молод. Соучастие к другому — не всегда от возраста и опыта, иногда оно дано с рождения, ну как цвет глаз, что ли.

Потопал я со своими новыми товарищами на запад. Когда-то, сынок, меня туда силком тащили, а теперь шёл себе и шёл. Тем же путём, но уже весело как-то, по-хозяйски.

Но война — не праздная прогулка. На запад шли с боями. Освобождал я, ставшую мне родной Белоруссию. Сначала 2-ым номером пулемётного расчёта, затем — 1-ым. Польшу прошли. Раньше-то я путешествовал по ней на пузе да ночью. Мало что пришлось увидеть. А сейчас разглядел: досталось им от немца!

К Германии я подходил уже «отделённым». Имел звание «сержант» и медаль «За отвагу». Вот, ведь судьба: кем начал войну, тем и добивал её!

Но, доложу я тебе! — воевать на земле врага и легче, и приятней. Терять друзей на чужбине — оно-то горше, но знаешь — вот-вот, а там... Хорошая жизнь будет!

Демобилизовали меня из Австрии. Не знал я тогда, что это — родина Гитлера, да и не поверил бы: природа уж больно хороша, и народ весёлый.

В последних числах июля 45-го подкатил я на поезде к родному полустанку. Запахи разморенной зноем степи, до горизонта серебристое мареве ковыля!.. Заплакал я. Всё горе — не беда — дома! А часы неумолимо отстукивали начало нового, седьмого круга ада.

Взяли меня ночью, в разгар семейной пирушки. А я был пьян. Пьян от водки, от воли, от близости родных мне людей, от того, что

я — живой... И от сознания, что всё это отдаляется от меня, становится миражом, я с утробным, звериным воем рванул на причину этого — военных в форме «МГБ».

Потом и это будет фигурировать в «деле». Судил меня военный трибунал. Официальное обвинение — самовольное оставление части (значит, пулемёты на вышках, колючая проволока — это часть?). Не обошли «конечно, стороной и мой плен, и мои (подозрительные, с ихней колокольни) побег, ну и моё сопротивление «органам»: Так как время не военное, сунули мне «пятёрку». «Радуйся «детскому» сроку!» — гыгыкал полковник — председатель военного трибунала — «Мы сейчас добрые. «Радуйся!»... Меня словно скалой придавило: «Ну как же так? Ведь я же воевать ушёл, не в тыл — на фронт!»

А колёса вагонные знай себе отстукивают: «Ты — зек, ты — зек, не-воль-ник, не-воль-ник!»

Попал я в систему лагерей, что восстанавливала разрушенный местами и пришедший в упадок «Беломорканал». Меня, как и многих таких, как я, судьба решила избрать судьями: «А ну решайте: чей ад страшнее — «ихний» или «наш»? А!!! Один хрен.

Нельзя сказать, что я, словно овца на заклание, смирился: Год писал: и в Управление лагерей, и Генеральному прокурору страны, и в Верховный Совет, и «Самому» — не ответили, словно вычеркнут я из жизни.

А жернова лагерной повседневности всё вращаются и вращаются, перемалывая человеческие судьбы в песок, выдавливая из людей волю к жизни, силы, здоровье.

Сдружился я с одним прекрасным стариком-священником. Многих солагерников это удивляло — ну абсолютно разные мы люди! Он — из «антисоветчиков», 25 лет «протрубил» за колючей проволокой, православный, грамотный (даже греческий знает!); а я с «конским образованием» степняк, мусульманин. А вот сдружились...

Как-то, улучив момент, поведал я ему о своих горестях. Выслушал он меня, положил свою прозрачную (болен он был, чувствовалось) ладонь на моё колено и сказал: «Письмо готово. Командиру своему напиши. Он, видимо, в больших людях сейчас». Письмо я «Бате» написал. А где он, каков его адрес — не знаю. Священник меня успокоил: «Найду твоего полковника. Сам письмо передам». «Но как? — спрашиваю — мы ведь за колючей проволокой!» «Узнаешь».

И действительно. Вскорости освободили этого старика по ста-

тье «458» — «доходяги». Ушёл он письмо и последнюю мою надежду на справедливость.

Потянулись томительные дни, ужасные в своей убийственной неизвестности.

И вот, месяца через два, вызвали меня к самому начальнику лагерей. О том, что это большая фигура, понял по тому, как засуетилось вокруг меня местное лагерное начальство, подбирая робу «первого срока» и инструктируя, как себя вести, на что и как отвечать.

Разговора с большим начальником не получилось. Завидев меня, тот взревел: «Видали эту б...! За него сам Зам. Према Совета Министров Белоруссии хлопочет, а он, мать-перемать, казённые харчи тут жрёт! Чтоб сию минуту этого выб...ка здесь не было!» Но мат в тот момент для меня был сладкой музыкой: «Батя» помнит, «Батя» выругит...

«Батя» не только вытащил из лагеря. Мне вернули награды, вручили медаль «Партизану Отечественной войны», удостоверение «Заслуженный партизан Белоруссии».

Каждый год я езжу в Минск, к «Бате», к партизанским своим братьям. В кругу друзей, за чаркой, постоянно вспоминаю старого русского священника. Ведь он — один из тех добрых людей, что спасли меня, не давая согнуть в жутких, испепеляющих кругах ада.

ПРИМИРЕНИЕ

(Рассказ)

Памяти отца.

Два поезда с разной скоростью, с разными расписаниями, упорно стремились к одной точке — неказистому полустанку, каких немало на просторах страны.

В поезде с севера, в одном из общих вагонов, забитых разнокалиберным народом, лежал на верхней полке старик. Вставал ли он вообще с неё — никто не видел. Пассажирам бросалась в глаза его экипировка: несмотря на июль (был жаркий июль 45-го), одет он был в выдающую вида телогрейку, ватные, прожженные местами штаны, уши шапочки были опущены, на ногах — войлочные опорки. Старик беспрерывно кашлял, уткнувшись в рукав своей одежки, содрогаясь всем своим когда-то, очевидно, сильным, а сейчас бесформенным (куча тряпья!) телом. Кто он, откуда, куда едет? — никто не знал. Опытные пассажиры из тех, кому чёрт не родственник, окинув его взглядом, бросали: «Свой, — и, как бы жалея, — доходяга!».

В поезде с запада, в офицерском вагоне, ехал капитан. Ехал на восток. Как все опытные фронтовики, он догадывался, что едет с войны на войну. Правда, предстояла неделя отпуска. Предстояла встреча с дедом, встреча со своей юностью, встреча с детством.

Детство... Даже сейчас в раскрытое окно вагона, несмотря на всепроникающий дымок паровоза, потянуло запахами раскалённой степи: запахом чабреца, мяты, горько-сладким ароматом полыни — запахами детства.

Отца своего капитан не видел никогда. Мать помнил смутно. А помнил ли? Скорее всего, память о ней была лишь синтезом рассказов деда и родственников. Горькое, горькое сиротское детство...

В 18-м году село заняли белоказаки — дутовцы. Остатки отряда красноармейцев рассеялись по окрестным балкам. В одну из ночей вернувшиеся разведчики поведали командиру, что у него родился сын и что отрядом белоказачков, расположившихся в его родном селе, командует брат командира. Той же морозной ночью командир ушёл в село на встречу с сыном, а оказалось на встречу с гибелью. Отцовский дом, где жили жена и сын командира, соседствовал с домом брата — белоказачьего офицера. Командир так и не успел увидеть сына: был схвачен казаками, связан, избит. Его куда-то поволокли, потом опять били...

Ни мольбы отца, ни стенания невестки на офицера белоказачьего не подействовали: есаул отправил старшего брата с сопроводительным письмом под конвоем пяти казаков в штаб дутовского полка. Брат — брата! Немногочисленные очевидцы потом рассказывали, что по пути в штаб командир каким-то образом развязался и попытался бежать, вывалившись из саней. Порубанный белоказачьим конвоем, умирал он, очевидно, в жесточайших муках. Где похоронят его прах — неизвестно.

У взрослого в землю саманного домика капитан остановился. Похлопал ладонями по запылённым гимнастёрке и галифе, смахнул пыль пучком ковыля с хромачей, поправил вещмешок. Оглядел расстрепанную ветром солому крыши домика, заросший лебедью двор: «Да! Видать, сдаёт дед».

В недоброй памяти годы коллективизации дом деда, как отца белогвардейского офицера, был конфискован. В Сибирь же деда не сослали, потому как был он и отцом красного командира. И вот теперь доживал он свой век в сложенном своими руками домике.

Из-под крыльца выполз изрядно польсевший пёс. Помня о сво-

ём собачьим долге, он, подслеповато вглядываясь в непрошенного гостя, обнажил источенные временем, пожелтевшие клыки, булькающе захрипел и, пошатываясь от старческой слабости, направился к капитану. Вдруг хрип перешёл в щенячий, радостный визг. Пёс завертел своим костлявым телом, в порыве восторга попытался броситься на грудь гостю. Капитана чуть слеза не прошибла: «Ах ты, псина! Узнал таки, узнал!».

На крыльце появился дед. Его «марковская» борода словно пожелтела. Трудные годы согнули его (два раскулачивания с полной конфискацией для одного человека — с лихвой!).

Внешне не проявляя эмоций, дед похлопал внука по поганам, кивнул в сторону распахнутой двери. Выглядело это так, будто не было многолетней разлуки, а внук вернулся не с кровавой бойни, а маленьким пастушонком ввечеру вернулся от стада.

О том, что из лагерей воротился его кровный враг, капитан узнал лишь вечером, во время шумного застолья. И, ему сразу стали понятны необычная сдержанность деда и какие-то недомолвки в рассказах его о делах села, о сельчанах.

Было далеко за полночь, когда капитан вышел из дома. Подойдя к жилищу врага — такой же, как у деда, развалюхе, он увидел в оконце тусклый свет каганца. Выхватив из кобуры пистолет, пинком растворив незапертую дверь, нагнувшись, он вошёл, вернее, по фронтовой привычке, боком скользнул в комнату.

Еле различимый во тьме, и от того более страшный, с кровати сполз живой труп. Тихо заплакала дочь врага. Визита капитана и его действий обитатели домика обречённо ждали. Скелет, обтянутый изжелта-серой кожей, безглазый (так жутко запали внутрь черепа его глаза), пополз к капитану, бессвязно шепча: «Я ждал... прости... грех... Я ждал... прости, сынок!».

Рука с пистолетом безвольно спустилась. Капитан выбежал из хатёнки, не затворив дверь. Он в смятении бродил по тёмным улицам села, а в это время его враг умирал на руках дочери, бессознательно вышептывая: «Прости!».

До утра капитан и его друг-сокурсник по педтехникуму, одирукий парторг колхоза, пили водку. Пили и не пьянели. Молчали, ведь парторг хорошо знал и понимал друга детства.

Капитан стоял у окна, когда мимо дома проскрипела колёсами телега и начала удаляться в сторону околицы села, в сторону кладбища. Обочь телеги шла худенькая, придавленная горем женщина.

Вопреки мусульманским законам, дочь хоронила отца. Односельчане не помогли ей. Боялись ли они этим скомпрометровать себя перед властями, боялись ли гнева капитана-фронтовика — бог ведаст!

Капитан смотрел на удаляющуюся фигурку своей двоюродной сестры, на удаляющуюся телегу с телом кровного врага — родного дяди. Он, ходивший с разведгруппами по тылам врага, судивший его кровавым, но праведным солдатским судом, хладнокровный и выдержанный в чувствах, судьей своего дяди не стал. Не смог, не захотел. Лбом, уткнувшись в стекло, капитан заплакал.

ТЕОРЕМА ФЕРМА

(Рассказ)

Памяти Я. Арсланова

Распался от взрыва
На звёзды
Выплыв из стали,
Ума,
Чуть дотянуть бы,
Но поздно...
«Фер-ма... тео-ре-ма
Фер-ма!»

Колготится, обласканная сентябрьским теплом студенческая молодежь. Дай ей волю — не загнать в прохладные палаты бывшего купеческого собрания, ныне здания физмата. Но не только это удерживает ребят на улице: предстоит очередной для одних и впервые виденный для других цирковой номер — явление Жеки.

Наиболее нетерпеливые из первокурсников уже кричат из-за угла: «Идёт, идёт!»

И вот появляется странная фигура. Она идёт на руках. На одной из полузадранных ног — гитара, на другой — пилотский планшет. Гитара, то ли от непочтительного отношения к ней, то ли от нетерпения попасть в руки, требовательно гудит басовыми струнами; планшет, поблёскивая целлулоном, таинственно молчит.

Толпа бросается к странному «рукоходцу»: «Привет, Жека! Здорово, пилот-академик!»

Уже сдёрнут планшет, бережно снята гитара, Жека, сделав три сальто, уже приземлился на мраморную ступень крыльца: «Бесы, вы — бесы! Как я по вас соскучился!»

Радостный гомон «бесов» прерывает высокий, полувсхлип: «Фигляр троцкистский!» Ошарашило это Жеку: «Не мо... ну не мо..., эт-то не она...» Она, Жека, она — Вера, дочь профессора истпарта, самая красивая девочка мехмата, а для Жеки...

Всё. Отбарабанили ее каблучки, не по мрамору, поживному, — по сердцу. Но Жека есть Жека! Побледневший, он взял гитару и, как-то извинительно-доверчиво пропел: «Вера, верю, в ожиданья, рассветы...»

«Верую, в ожиданья, рассветы»

Верные

Верую.

Пусть летит над планетой

Ветреной

Слово вечное: «Вера,

Верую!»

Жека, Жека! Очнись, оглянись вокруг! Ведь столько друзей и подружек возле тебя. И каких подружек!

Но Жека есть Жека! А Вера? Да знаю: Вера будет плакать в укромном уголке. Но и плача, будет во всём винить Жеку, а не себя, не отца — институтского секретаря парткома («Вера! Я запрещаю... Его отец...»). Но и для неё (там — в тайниках сердца) Жека есть Жека!

Четыре страсти у внешне невозмутимого Жеки: Вера, гитара, математика и небо; для Веры — гитара и небо, для неба — Вера и небо, для гитары — Вера и небо. А что же для математики?

Математику Жека любит не менее трёх остальных составляющих его жизни. Мало того, в отличие от ветреной Веры, математика отвечает ему взаимностью. Вот разве что теорема Ферма?! Со всей страстностью цельной натуры Жека подступился к ней тогда, когда узнал, что теорема не понятна, не понята, непредсказуема, недоказуема (т.е. полный набор чёрточек характера Веры). Ну а Вера для Жеки — вера.

Для Жеки студентка Вера — некий символ, для студентов же сентябрьское явление Жеки — ритуал.

Но этим сентябрьским днём стайка мехматовцев была удивлена злобещим молчанием разведчиков-первокурсников. Жека появился из-за угла в «нормальном» состоянии, то есть на ногах. С планшетом, но без гитары. Руки — в бинтах. На вопросы отвечал стеснительно: «Да-а! Как-то так... нечаянно... ошпарил».

Только много позже сокурсники по своим каналам узнали... были прыжки с аэростата. Жека привычно окинул взглядом раскрывшийся купол, привычно поправил лямки подвесной системы. Всё в норме, и вдруг!.. Это самое «вдруг» резко скользнуло по его куполу и приняло облик фигурки парашютиста, захлестнутого стропами.

Жека есть Жека: ускользящие стропы намотаны на руку. Несмотря на режущую боль, одна мысль, одна забота: «Удержать, спасти!». И он удержал, спас – этот «фигляр троцкистский». Спас не только своего соннебесника, но и себя: ведь обкрутись полузадохшийся купол спасаемого вокруг строп спасателя – тоска!

Вы спросите: «Ну, а как с теоремой Ферма?» Некоторые взгляды насчёт её доказательства Жека отправил одному из видных математиков Москвы. Отправил с опаской: дело ли отвлекать такую величину?! но тот с ответом не замедлил...

Осень новоиспечённый аспирант Жека должен был встретить в столице. Готовилась к переезду гитара, начинённая новыми песнями, готовился к перемене местожительства пилотский планшет, столь набитый математикой, что потерял свою щеголеватость, готовилось небо, часть которого была заключена в корочки «пилота ОСОВИАХИМа».

Не готовилась только Вера, «успешно» переболевшая любовью к сыну «врага народа» и не успешно вышедшая замуж за молодящегося инструктора горкома партии. В ответ на это известие гитара как отрезала:

«Не твоей стала

пассия,

Не тебе она –

партия.

Лишь с гитарой ты –

альянс,

А вот с Верой –

мезальянс...»

Но не будет у тебя Жека, московской аспирантуры.

Двадцать второе июня. «Что вы мне тычете своё пилотское удостоверение? Уберите свою дурацкую бандуру, музыкант хренов! – голос военкома срывается на визг, – Лётчик он, видите ли! Да с твоей биографией!!! А, впрочем, я тебе устрою оперу-балет! Ты у меня, вражина, попоёшь!»

Через два дня красноармеец Жека уже ехал в Дагестан, в музвод.

По пути, где-то в южной дымке, оседал на шпалах отголосок его песни:

«Виноград устал,

он опал, упал,

«Бычьим глазом» молит:

«Отстаньте!»

Умираю, взамен вам –

Вина бокал,

Но в зрачки мои

всё же гляньте».

Что творилось в душе Жеки, рвущегося к воздушным схваткам с врагом, Бог ведает! Боль, обида, ущемлённое самолюбие, ненависть? Нет, ненависти к затурканному военкомовскому чину не было, не было её и, тем более, к Вере. Обида? Да! Боль? Да! Но отступало это всё на второй план. Главное – в небо, там он нужен, ведь лётчик же он, лётчик! А музыка – это для души.

Потянулись для Жеки тяготные дни, месяцы службы в тыловом Дагестане. Шли письма к матери и друзьям: горькие, откровенные, часто вымаранные цензурой. Но в них нет-нет, да проглядывал тот довоенный Жека, неунывающий, бесшабашный, свой.

Писал ли он в тот период песни? Скорее всего, да. Ведь Жека есть Жека! А что его мама? Возрадовалась тому, что дитя устроено в тылу? Отнюдь.

Исподволь, со всей осторожностью, используя старые связи, знакомства, свой авторитет популярной актрисы, билась она за его небо; а сердце кровоточило: сын ведь!

Это письмо Жеки было кратким: «Мама! В моей судьбе – резкая перемена. Писал Ворошилову. Он ответил, что сын за отца не отвечает. Спешу на новое место службы. Подробности позже. А всё-таки – небо!!!».

Лётчиком-истребителем сержант Жека стал поздней осенью 41-го. Бои. Изнуряющие. Кровавые. А письма к матери и друзьям – весёлые, бесшабашно-весёлые. Нет, без бравады, без напускной смелости, нет! Это письма человека, нашедшего своё место в клину крылатых, оперившегося, познавшего свою силу.

Бои, бои. Младший лейтенант – старший лётчик, лейтенант-командир звена, старший лейтенант-комзск.

Бои. Ранения. Награды. «Героя» Жеке не дали. «Протеже» Ворошилова, любимец всей части, он всё же так и остался сыном «врага народа».

Но Жека есть Жека: что ему слава, ведь есть небо, есть Родина, есть мама! В одном из писем матери, Жека писал: «...В бою не страшно. Ну ранения (я к ним притерпелся), ну гибель... Страшнее пропасть без вести. Вот этого я себе позволить не могу...»

А стихи Жека писал. Урывками. Неровно. Нервно.

«... Не до стихов теперь,

не до стихов!

Не от того, что мы

душой устали,

не от того, что

в грохоте боёв

крупницы искренности потеряли...

Война ведь — это прозы

грязь и кровь,

где даже солнце

распухает гнёбом

и дыбится земля

от взрывов внодь,

и небо опрокидывает

с воём...»

Жека с очередного вылета не вернулся. Строки извещения прозвучно сухи: «...пропал без вести...»

Повзрослев, я часто упрасивал бабушку: «Давай напишем в газету какую-нибудь или в Москву, в Министерство обороны. Может, кто-нибудь знает о дяде Жеке, расскажет о его последнем бое? Ну, давай напишем!» Та в ответ грустно качала головой: «Нет, не надо! Он ведь для меня — живой. Вот и жду, пока есть силы. А силы — в неведении: Узнаю правду — умру!»

Теорема Ферма... Что же всё-таки в ней кроется? Жеке раскрыть тайну теоремы не дала проклятая война. Да и только ли ему!..

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ... ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

(Рассказ танкиста Тимергали Арсланова)

Танки 106-го полка процарапывали днищами тяжёлых ИС-ов последние метры польской земли. Тяжело дались эти метры танки-

стам: весна, распутица, но впереди — Германия!

Одер форсировали перед рассветом. Углубляясь в ненавистную территорию, медленно, метр за метром, километр за километром, приближались к Берлину. Как в замедленной киносъёмке, перед глазами замаячил и стал удаляться дорожный указатель с цифрой «48». Не сразу мозг, занятый оценкой боевой ситуации, среагировал — Берлин-то — близко!

С Зееловских высот логово фашистов было совсем рядом: вот оно — протяни руку!

Команду: «маскировать машины» Тимергали встретил, как и его однополчане, с гримасой неудовольствия: надо же! от самого Амура шёл, а тут — окапывайся! Но приказ есть приказ, а он — командир танка.

Да, Амур! В 40-ом году паренёк из башкирской степной глубинки попал служить на берега великой дальневосточной реки. По началу потомок воинов-кочевников стал стрелком танкового экипажа, затем сельский тракторист овладел навыками вождения, став механиком-водителем. Вспомнились бои под Москвой, Волховский фронт, горящие и немецкие, и свои танки, гибель товарищей...

16 апреля 1945-го. Пять часов Москвы. Началось! Пришло, наконец, то, о чём ты, долгие годы, так мечтал, Тимергали! Ну, теперь...

1 апреля в танк ударил тяжёлый снаряд. Чудовищной силы взрыв сбросил башню танка на землю. Красшком угасающего сознания Тимергали зафиксировал: боекомплект сдетонировал! Черная пелена то напозала на глаза, то рассевалась. Прямо перед глазами ярким костром поыхал танк. Мой или соседский? Боль в голове невыносима, как-будто её пересхали танковыми гусеницами и расплющили. Слышны крики раненых и стоны умирающих: «Сани...»

Тимергали подобрали только на третьи сутки. Не надеющийся на то, что выживет, танкист жалел лишь о том, что не смог отомстить и за двоюродного брата, тоже танкиста, Героя Советского Союза Гафията Арсланова, двоюродных братьев: Яудата Арсланова — лётчика, Зинната Арсланова — партизана, за всех родичей и односельчан, не дошедших до Победы.

«Последний бой» танкиста не кончился долгими месяцами лежания в госпиталях, он продолжается за каждый прожитый день, за каждый шаг. Он будет длиться, пока жив танкист.

УЧИТЕЛЬ

Колонна, сопровождаемая хриплым лаем натренированных и озлобленных от усталости, надоедливом комарья, немецких овчарок, вползла по заросшей кустарником, давно не езденой дороге, в лес.

Зиннат, еле перебирая ногами, плёлся в середине шеренги (у военнопленных существовало неписанное правило: более стойкие, сохранившие остаток сил, идут по краям колонны, чтобы поддерживать ослабевших), оглянулся по сторонам. Слева, по движению колонны, густой кустарник окунался в болото, чья, вздувшаяся от выходящих газов поверхность маслянистой рябы блестела при лучах заходящего солнца. Справа собственно и начинался лес, густой, дышавший мраком и неизвестностью.

Конвоиры с ещё большим остервенением начали поторавливать колонну. «Сейчас или никогда!», — застучало в висках Зинната. Он начал незаметно меняться местами с товарищами по шеренге.

Движение колонны вдруг застопорилось. Задние стали напирать на передних. Непонятно, толи кто-то упал в толпе пленных, а другие стали валиться, споткнувшись о него, толи какой-то конвоир, озлобившись на пленного, стал вытаскивать его из шеренги...

Конвоиры забегали, стали лихорадочно передёргивать затворы автоматов. Зиннат, оказавшись уже в левом крайнем ряду колонны, с силой ударил находящегося рядом с ним конвоира. У ослабевшего в плену солдата удар не получился, но опешивший конвоир перелетел через своего пса и запутался в поводке, что был намотан на его левую руку. Очередь всером пролетела над колонной.

Зиннат в три прыжка пролетел сквозь кустарник и плюхнулся в болото. В тёмной воде нащупал подходящий стебель камыша...

Теперь камышовая трубка, не выделяющаяся среди густого камыша, давала возможность дышать через неё. Так, очевидно, делали его предки-воины, пробирающиеся под водой к неприятельскому берегу: так и он, ещё мальчишкой, подкрадывался, чтобы погугать девчат на родной Куюргазе. Те, поднимая туни-брызг, визжа от приторного ужаса, разлетались в разные стороны, как выводок гусят, застигнутый речным хищником-сомом.

Зиннат попытался встать на ноги. Саднило плечо, видать, одна из пуль конвоиров всё-таки зацепила его. Ноги нащупали вязкое, но выдержавшее его исхудавшее тело дно. Болото не захотело забрать ещё одну жертву, дно держит!

Выполз солдат из болота, когда ночь была в разгаре. В свете

луны дорога казалась пустынной. Неподвижные холмики на ней — всё, что осталось от ушедшей куда-то колонны. Зиннат углубился в лес и пошел, продираясь сквозь еле различимые ветви деревьев, выставив вперёд правую руку, чтоб как-то защитить глаза. Шёл всю ночь.

Была середина дня, когда разведчики одного из партизанских отрядов, кочующих в Брянских лесах, натолкнулись на спящего оборванного человека.

В жизни бывшего учителя Зинната Арсланова начиналась новая полоса жизни — партизанская!

НЕНЖ НОЖОТЪАСТУМ БН



КЛАД «КАРМЕН»

Территория училища – бывший мужской монастырь, закрытый властями в 20-е годы. По этому поводу курсант Резников шутит: «Всё возвращается на круги своя: тот же монастырь, послушники, уставы... только форма одежды другая».

Аллеи «монастыря» обсажены столетними липами. Видать, долго и основательно обустроивались здесь святые отцы. Частенько курсантам, в походе за песком для посыпания дорожек, попадаются кости, черепа, а то и натолкнёшься на тяжелую дубовую домовину. Жутковато!

Сегодня наш взвод направили на хозработы в распоряжение «Кармен». О, «Кармен» это достопримечательность училища! Такое прозвище ей дали за высоким валиком взбитые волосы, за, не по возрасту, ярко накрашенные губы и за непомерно пышные формы, на которых возлежала не одна стриженная голова старшекурсника. «Кармен», почему-то, – начальник клуба, хотя должность эта сугубо не штатская. Вот она под неистовые крики курсантов: «Кармен, Кармен!» – выходит на сцену клуба, машет могучей дланью юномеханику и... фильм начинается.

Итак, какую же работу сегодня придумает «Кармен» для нас? А та велит разобрать ломы, кирки, лопаты... Да! Предстоит «непыльная» работёнка: долбить кирпичную перегородку в подвале. Тут бы взрывчатку или «два солдата из стройбата заменяют...». А, срунда! Один курсант заменит отделение стройбатовцев, это значит: 3,5 экскаватора помножим на 3... Ого! Стену долбит десять с половиной экскаваторов, пробьёмся!

Крепко строили монахи! По хозяйски. От красноватой пыли в полусумрачном подвале нечем дышать, на ладонях раскраснелись мозоли, но пробрели-таки эту перегородку.

Тут же попадали на горы битого кирпича. Сил выскочить из подвала на свежий воздух нет. Ещё не улеглась пыль, как вездесущий курсант Кирюшкин закричал: «Братцы, да это же винный погреб!».

Да, это был винный погреб. Вдоль стен помещения, на стеллажах из толстых дубовых плах, лежали большие тёмные бутылки с задитыми воском горлышками. Бутылей было много: от пола до потолка. В том же помещении стояли внушительные, обитые железом, сундуки, но нас они не заинтриговали.

ИЗ КУРСАНТСКОЙ ЖИЗНИ



Хорошо, видеть, жилось монахам: пей, не хочу! Очевидно, уходя из монастыря, они решили замуровать от досужих глаз самое ценное для них — вино.

Пробовали находку поначалу осторожно, а вдруг отравлена! Да нет! Вино было цвета рубина, тягучее и сладкое. Понравилось! Ну а дальше всё происходило по расхожему сценарию: потеря бдительности, громкие, бессвязные, разговоры, как сквозь вату; визг и квохтанье «Кармен»... «Дегустаторов» уложили в гримёрной клуба спать, приставив часовым взводного, старшего Оникийчука. Задача его заключалась не столько в том, чтобы пресечь побег курсантов в вожделенный теперь подвал (какое там! нас ноги уже не держали, вот тебе и сладенькое монастырское...!), сколько избежать огласки столь вопиющего для училища факта — коллективной попойки.

А в том, недоброй памяти, подвале, в том «винном погребе», нашли богатую коллекцию церковной утвари, которую и передали местному церковному приходу.

Впоследствии, среди курсантов ходили слухи о том, что какой-то церковный «генерал» нанёс визит нашему генералу, дабы лично поблагодарить курсантов за ценную находку. Но святейшего к нам не допустили: времена были не те.

МЕТКО СТРЕЛЯЮТ КУРСАНТЫ

В клубе крутят «Чапаева». Крутят сугубо для нашего взвода: мы едем в караул, и не куда-нибудь — в «Разбойщину». А фильм — тонкий намёк: среди курсантов училища ходит ужасная легенда о том, как был поголовно вырезан караул. И происходило сие именно в «Разбойщине». Итак, едем в настоящий «боевой» караул. «Разбойщина» — это пруд, на одном берегу которого два исправительных лагеря: мужской и женский, с десятком домов местных «разбойников»; на другом — склады военного училища, то есть объект нашей охраны.

Погода в Поволжье весьма капризна, и к ночи разразилась гроза. Я только что сменился с караула и ещё не успел обсохнуть. Представляю, каково сейчас ребятам на посту: сердца, небось, в стельках сапог — в такую погоду подобраться к часовому, как два пальца обмыть. А рядом то, зоны — жуть!

Сквозь шум ливня и раскаты грома мы не сразу услышали звуки выстрелов. А стрелял кто-то из курсантов: очереди экономные, по два выстрела.

До того поста (а он — дальний, у самого пруда) мы бежали целую вечность: липкая грязь, сполохи грозы и... мерзкое ощущение того, что кто-то сейчас берет на мушку тебя — любимого.

Стрелял курсант Кирюшкин. Подползли к нему, разгребая жидкое месиво. «Кирюша» поведал, что напали на него внезапно, аккуратно с началом грозы. Нападавших примерно двое: один взобрался на крышу склада (часовой слышал, как он прыжками неся по грохочущей жести), другой же бросился на курсанта; но тот упал в грязь и открыл стрельбу. Попал или нет, не знает.

Кое-как уняли сердцебиение, осмотрелись, прислушались... И точно: по крыше кто-то бежит. Нервы на пределе, глаза и стволы автоматов ищут цель. «Вон он!» — чей-то громкий полушёпот. Удар молнии осветил длинную бегущую фигуру, нелепо размахивавшую руками. Автоматные очереди ударили дружно, ударили безо всякой команды, перемежаясь с pistolетными хлопками начкара — лейтенанта.

Но, освещаемая грозowymi разрядами, фигура нападавшего всё также продолжала бежать к нам и всё также судорожно дёргала руками. В нас закралось сомнение...

Постовой плащ (а именно он, бедолага, висевший на штатном месте под постовым грибком, подвергся обстрелу, а тут ещё оторванный лист жести на крыше!) был безнадежно испорчен — всё-таки метко стреляют курсанты!

ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ

На ночь в аллеях, идущих периметром вдоль территории «монастыря», выставляются курсантские караульные посты. Сегодня мой пост соседствует с постом Коли Козлова. Он, как и все пензяки, хладнокровен, даже в чём-то флегматичен. «Полоса отчуждения» между постами — 50 метров и, пока окончательно не стемнеет, я буду видеть коренастую «шкаф»-фигуру Коли, косолапо вышагивающую вдоль старых корявых лип.

Самое тяжкое время на посту — перед рассветом. Тело дремотное, чужое, глаза, как у пойманной рыбы, готовы от напряжения

вылезти из орбит, а сердце стучит метрономом: «Ты — спи, поспи». Ещё эта предательская тишина...

Вдруг её разрезал на части скрип песка под ногами бегущего человека. И этот, бегущий, задыхающийся, еле вымолвил: «Ви-ви-тёк! Не-стре-лай!» Это был курсант Коля Козлов. Неадекватный сам себе, он кое-как смог объяснить мне причину, побудившую его, в нарушение Устава, бежать ко мне на пост.

А случилось вот что... В такой же полудрёме, как и я, Коля в очередной раз проходил мимо особенно раскидистого дерева. Вдруг что-то ударило его по голове, сбив пилотку. От неожиданности курсант отпрянул. Перед глазами заплескали в каком-то нелепом танце... солдатские кирзачи «сорок последнего» размера. Выплясывая, кирзачи ещё и матерились в полголоса. Сей факт и стал последней каплей, заставившей невозмутимого Колю бежать с поста.

Мистики никакой не было. Коля подсадил меня на сух, возле которого «вытанцовывала» и «выражалась» солдатская обувь. Поднявшись вдоль ствола, в предутренних сумерках я разглядел задранные к небу руки, захлестнутые петлёй, верёвку, уходящую куда-то вверх. Вытащил штык-нож и перепилил её. Раздался треск ломающихся веток, мягкий шлепок и отборнейшая ругань.

Банальная история. Солдатик из БОУПа (батальон обеспечения учебного процесса) получил письмо от невесты: дескать, прости, встретила, выхожу замуж. Ну, наш воин и решил: «Жизнь кончена!» написал прощальное письмо, сунул его в карман гимнастёрки, взял верёвку (срезал её с вешал прачечной), как-то сумел под носом курсанта влезть на дерево...

Но, уже надев петлю на шею, почувствовал, что не совсем уверен в том, что хочет умереть. Быстро-быстро решил скинуть с шеи немодный и уж очень давящий «галстук». И скинул было, да ноги соскользнули с ветки, на которой стоял, вот руки и захлестнуло. Благо руки!

Военный совет из трёх человек, состоявшийся под злополучным деревом, был недолог. Решили: о случившемся — молчок! Пришлось мне опять лезть на дерево искать и отвязывать верёвку. Только успели убрать с дорожки сломанные ветки и сбитую падением тела листву, только я успел добежать до своего поста, как пришла смена. Всё сошло с рук.

«ОХОТА»

Старлей Оникийчук, имевший среди курсантов прозвище «Пау-тыня», избрал местом охоты тёмные аллеи. Нынче он проверяет бдительность часовых. Я — в бодрствующей смене, а посему сопровождаю офицера.

Всё пока идёт по Уставу: оклик часового, обмен паролями... Далее: вводные. Разнообразием они не отличаются: наладение на пост и пожар на посту. Курсанты действуют чётко, и мы со старлем продвигаемся вдоль аллеи от поста к посту. Курсант Резников встречает нас таким: «Стои!»; что всполошились все вороны в округе нашего «монастыря». Спросонья он, что ли? По приказу Оникийчука, у Васи на посту начинается «пожар». Вася бросается к противопожарному щиту за огнетушителем, автомат сползает с плеча, мешая (и без того суетливым) действиям курсанта.

Старлей, как чёрт из табакерки, возникает за Васиной спиной. Сладеньким голоском он предлагает курсанту подержать его автомат. Тот, ничтоже сумняшеся, отдаёт его Оникийчуку и (без оружия-то сподручней!) продолжает колдовать над огнетушителем. Довольный голос старлея: «Оружие в чужие руки!..», — приводит Васю в себя. Он резко оборачивается к офицеру, струя из огнетушителя сшибает с того фуражку, залепив лицо пеной.

Далее происходит следующее: Резников хватается за ствол автомата, пытаясь вырвать его из рук старлея. Происходит молчаливая борьба, изредка прерываемая репликами: «Отдай — не отдам!..».

Завладев, всё-таки, своим оружием, глубоко обиженный курсант отпрыгивает на несколько метров от места стычки, передёргивает затвор и рычит: «Не подходи, стрелять буду!».

Оторопев, я некоторое время гляжу вслед убегающему, странно вихляющему задю командира, потом бросаюсь за ним — субординация!



ЦИРК ДА И ТОЛЬКО!



ЦИРК, ДА И ТОЛЬКО!

Сернал из маленьких новелл о зверюшках

Что такое зооцирк? Это миниатюрный зоопарк на колёсах. Вот и катит, колесит этот мини-зверинец по стране: с запада на восток, с севера на юг и летом, и зимой. Колесят с одного климата в другой дикие звери и птицы, крокодилы и змеи. Всеякие и разные. Но я хочу начать сернал рассказом о маленькой обезьянке из семейства макак — Муське. Шестимесячная Муська-лапундр. Она не имеет такой роскошной и, прямо-таки, необходимой принадлежности мартышек, как длинный и гибкий хвост. Зато у неё цепкие чёрненькие лапки-ручки и лапки-ножки, остренькие клыки, изумительная, хитрющая мордочка и... характер. Она может быть сварливей десятка базарных торговек: берегись обидчик! — Муська изругает его в таких верещающих тонах — уши затыкай! Но она и ласкова: обнимет за шею и что-то начнет ворковать на ухо или, сидя на плече, начнет что-то искать в твоих волосах, сооружая при этом немислимые причёски на голове. Она и воровата: обыщет все карманы. Содержимое, как-то: блестящие монетки (но достоинством не ниже гривенника!), авторучки, брелоки, зажигалки, сигареты — всё это будет изъято и присвоено Муськой. Сигареты она не курит, не научилась ещё, не то, что её солидная мамаша! Но с удовольствием жуёт табак, лихо сплёвывая при этом коричневую жвачку, как какой-нибудь уважаемый среднеазиатский аксакал, жующий насвай.

Разбирается она, как выяснилось, не только в сигаретах, но и в женских золотых украшениях. Об этом в новелле:

МУСЬКА И КУЛОН

Мусько — существо вольное. В клетке она только ночует, да и то не всегда. А так... бегаёт по разбитому на площади «цыганскому табору» зооцирка, носится по хоздвору, озорует в наших жилищах на колёсах и... «достаёт, ох как достаёт»!

Вот и сейчас: занялся я ремонтом машины, а она тут как тут! То стянет гаечный ключ, то детальку какую-нибудь «упрёт»... Отругал я её. Обиделась. Показала язык и убежала. Через какое-то время появляется на хоздворе взбудораженная мама Нелля (она — мама не только для нас, работающих в цирке холостых парней, но и для всех

зверюшек), а с ней заплаканная девица в кофточке с умопомрачительным декольте. На её прелестной шейке капельки крови. Глотая слёзы, обиженно шмыгая носиком, девица то и дело прикладывает платочек к поцараланной коже.

Небольшое отступление. Мама Нелли – повариха. Но не простая. Она кормит обезьянок (а их у неё – 57, разных видов, размеров, окрасок, вкусов), декоративных кур, павлинов. Таким клиентам не угодит ни один шеф-повар столичных ресторанов, мама Нелли угождает.

«Слушай, – еле переводит она дух, – Муську не видел?». «Видел, – говорю, – крутилась тут, мешала работать. Ну, я её шуганул. А что стряслось-то?». «Найди её. Знаешь, что она учудила? Вот у этой... (прости... Господи! – читалось в глазах строгой в делах морали мамы Нелли) девушки Муська сорвала с шеи кулон с цепочкой, и куда-то уплыла. Найди её, отбери кулон. Она тебе его отдаст. Я бы сама, да некогда – варить надо. «Легко сказать – отдаст! Тем более, золотую вещицу. У Муськи, как у всякой особы женского пола – губа не дура! Она же часами может себя рассматривать в зеркальце, кокетка! Но делать нечего, пошёл искать грабительницу. Муську нашёл в её излюбленном месте – на крыше вагончика с прессованным сеном. И, конечно же, она любовалась своим уворованным сокровищем, время от времени пытаюсь прикрепить кулон с лопнувшей цепочкой себе на шею. Чертыхаясь, я влез на крышу. Мигом золото у Муськи за щекой. С визгом: «Грабят!» – та начала улепетывать от меня, прыгая с крыши на крышу вагончиков. Разве угонишься! Битый час, весь в мыле, носился я за экспроприаторшей по хоздвору. Нет, так дело не пойдёт, надо что-то придумать. И придумал. Знал, что Муська – большая любительница мороженого. Частенько продавщицы близ расположенных пунктов продажи этого холодного продукта приходили к нам жаловаться на её набеги. И нам, во главе с мамой Неллей, приходилось раскошелиться за свою любимицу.

Купив в киоске 2 стаканчика мороженого, вернулся на хоздвор. Нюх у Муськи не хуже, чем у Петровича (нашего сторожа), правда, у того нюх одиобок – лишь на то, что пахнет градусами. Итак, вижу: описывая сужающиеся круги, Муська с деланным равнодушием приближается ко мне. Подаю ей стаканчик. Та деликатно берёт его (мизинчик оттопырен: ни дать, ни взять «Купчиха за чаепитием»),

вытаскивает изо рта предмет-моей-охоты, небрежно кидает его на асфальт неподалеку от моих ног и приступает к трапезе. На кулон-ноль внимания, главное сейчас – лакомство! Я тянусь к цепочке, но в доли секунды та, вместе с кулоном, оказывается за Муськиной щекой. В её глазах – откровенная издёвка. Повторяю операцию «Мороженое» ещё и ещё раз, захожу в азарт...

Не помню, сколько стаканчиков скормил я Муське, но кулон всё же был возвращён владелице. Оскорблённая, обиженная до глубины души, моя маленькая подружка отомстила мне, заболев ангиной. Доставила же она хлопот и ветврачу; и нам с мамой Неллей! А друзьями мы с Муськой всё же остались.

Ну а о том, как она пила водку, в новелле:

МУСЬКА И ВЫПИВОХИ

Нельзя сказать, что наши обезьянки – трезвенники. На воле, говорят, они способны даже организовывать алкогольное производство: бросят в ямку перезрелые бананы, укроют листьями... и через этакое количество времени, веселящий напиток готов. Зооцирковские обезьянки такой возможности лишены (бананы, что ли, не те?), но зимой им положены ежедневные «наркомовские» сто грамм «Жагора». Выпивают свои порции с превеликим удовольствием и чуть ли не выкрикивают: «Повторить!».

Но вот Муськино отношение к водке, как выяснилось, резко отрицательное.

Дальний угол хоздвора привлек моё внимание каким-то шумом. Подхожу, вижу: на дышле вагончика – туалета, на обрывке газеты, стаканчик и немудрёная закуска. Небритые, гневные физиономии трёх «болящих» устремлены куда-то вверх. «Отдай, сука!» – рычит один из них. Двое других подкрепляют сей монолог более резкими фразами. Задираю голову: на крыше туалета... Муська! держит в ручках раскупоренную бутылку водки. Что-то будет! Смысл бросаемых реплик вряд ли, по её малолетству, Муське понятен. Но вот тон их!!!

Сделав пару глотков, Муська скривилась и с омерзением отпихнула от себя бутылку. Та, поливая содержимым потенциальных собутыльников, скатилась с крыши и бомбой взорвалась у их ног. Глядя на осколки, те оцепенели в траурном молчании. Ну, а Муська (всё-таки неприятный ей напиток начал своё действие), пьяненько

похихикивая, бочком-бочком проскакала по крыше туалета, едва не сорвавшись, перескочила на крышу другого вагончика и исчезла с хоздвора.

Участники, а вернее, зрители этого действия разошлись в глубокой печали. Я же пошёл искать свою маленькую выпивоху. Как и ожидал, нашёл её у клетки страусов.

Респектабельную чету страусов-эму Муська не раз использовала в качестве скаковых лошадей. Делала она это так:

Промежуток меж прутьями решётки страусов для Муськи — широкие ворота: Повиснет на прутьях и замрёт. Чета, по-первости, забеспокоится, издавая звуки, сходные, разве что, со звуком работающего компрессора грузовика; затем, попривыкнув к неподвижно висящему зверьку, продолжит заниматься своими домашними делами. Муське этого-то и надо! Влетит в клетку, ухватится за шею крайне удивлённой птицы и давай галопировать по просторной клетке эдакой амазонкой!

Но в этот раз амазонки из Муськи не получилось — алкоголь подвёл... Сначала всё шло по старому, наезженному сценарию: вис на прутьях, прыжок... А прыжок-то был неточен. Глава страусиного семейства ухватил клювом Муську за шиворот, не обращая внимания на её протестующий визг, «нежно» встряхнул, затем последовал «пушечный» удар ногой. Муська футбольным мячом вылетела меж прутьев клетки, просвистела по воздуху значительное расстояние и шлёпнулась к моим ногам.

Кое-как, поднявшись, почёсывая свою «точку приземления», кряхтя, забралась ко мне на плечо, чтобы долго-долго жаловаться на коварство птицы-«лошади», сбросившей Муську с «седла».

Урок пошёл впрок. Больше амазонкой я Муську не видел. Что касается водки, то, даже на расстоянии учуяв её запах, Муська начинала негодуяюще фыркать.

Ну а о том, как она дегустировала помидоры, в следующей новелле:

ПОМИДОРНАЯ ЭПОПЕЯ

Как-то в середине мая наш зоотабор «застолбил» место на площади старинного уральского городка. Место доходное: рядом — центральный рынок, напоминающий скорее парк культуры и отды-

ха. Народ валом валит поглазеть на наших зверюшек. Работы — невпроворот! Освободился часам к шести вечера. Дай думаю: пройду по рынку, погляжу, чем тут потчуют горожан.

Сразу же от арки главного входа начались ларьки, ларёчки, киоски, прилавки. Привлекла внимание хохочущая толпа у одного из киосков. А сквозь хохот явственно доносится визг, перемежающийся плачущим смехом. Пробираюсь сквозь толпу, умирающую от смеха. Перед киоском свободнее пространство. Вижу: на прилавке гора крупных красных помидоров, из-под прилавка женские причитания: «Хосподы! Люды, та убэрите цюю чертяку, хосподы!» Над прилавком — «крупнокалиберный», туго обтянутый белым халатом, зад. На зад у невозмутимо восседает — кто бы вы думали — Муська! Берёт помидорину в ручки, надкусит и брезгливо скривившись, кидает её в толпу, беснующуюся в пароксизме смеха. Перед прилавком уже горка раздербаненных помидоров, а Муська всё тянется к очередному: а вдруг этот-то окажется так привычным, ей и так желанным сладким яблочком?! Дело тухлое! Надо срочно эвакуировать Муську из зоны назревающего конфликта. Но: когда я подхватил её на руки и хотел уже улизнуть, могучая длань обхватила мою шею. Дородная казачка приподняла меня над землёй: «А платить хто будэ?» Обижают друга? Этого Муська не позволяет никому! Прыжок, два визга (визг казачки и визг Муськи) причудливо переплетаются. Вскоре — та же картина: над прилавком возвышается зад, туго обтянутый халатом, как турецкий барабан кожей, а по этому-то «барабану» лупит и лупит возмущённая моя защитница.

Когда я всё-таки пробился с Муськой сквозь издыхающую от смеха, плачущую толпу и бегом-бегом к выходу рынка, то услышал: «Ой, девки, умру. Сроду такого цирка не видала. Люди! Да за такой номер надо «скинуться».

Не знаю насколько «скинулся народ, но видать, прилично, ибо незадачливая торговка жаловаться на Муську к нам в цирк не пришла. Так что начальство наше об этой истории не узнало. А то сидела бы наша дегустаторша со своей мамашей в клетке, а в лучшем случае, где-нибудь на хоздворе на цепочке. А Муськину личную свободу мы старались сохранить. Знали: от нас не убежит никогда, в чужие руки не дётся, если что, покажет свои острые зубки.

Вот о том, как Муська это делает, новелла:

МЕСТЬ МУСЬКИ

Муська оббегала весь цирк — ну ничего интересного! День. Жара. Снеста. Звери, кто как может, прикорнули в своих душных клетках. Не до кого доколебаться, ну тоска, да и только! И в этот момент на горизонте вырисовывается Чуня. Ну, Чуня не Чуля, звать-то его Фёдей. Он высок, худ, рыж и, как все рыжие, нахален. Слышал я, что он и сел-то в очередной раз в тюрьму прямиком из нашего цирка: какая-то там афера с контрамарками. Взяли же его обратно к нам по слёзной просьбе безнадежно-некрасивой, тихой и доброй Валены, нашей кассирши. Что поделаешь — любовь! Любовь любовью, но нам всем неприятны были Фёдины «козы» руками, дескать, я — блатной!

Муське скучно, вот и решила она познакомиться с новой для неё фигурой. А тот, жестикуюлиру «козой», с зажжённой сигаретой в пальцах, что-то плёл кому-то о своих похождениях. Муська — святая душа, села перед ним и протянула ручки, дескать: угости табачком! Миг... и губа Муськи обожжена. Чуня хохочет, ему весело. Ручка его с сигаретой так и летает по воздуху. Но не такова Муська, чтобы простить содеянного над ней! И не злопамятность её движет, но детская обида. Прижок, челюсти сомкнуты: Чуня, повизгивая от боли, трясёт рукой, а на ней, клещом вцепившись, висит Муська — не оторвать!

Оторвали, только вместе с двумя пальцами, доампутированными в больнице. Чуня, перед тем, как навсегда покинуть территорию цирка, пригрозился, было, свернуть Муське шею, да уж больно много стало у неё защитников после этого случая.

Стремление к свободе — неотъемлемая черта всех без исключения живых существ. О попытке обрести её я попытался рассказать в новелле:

ПОБЕГ БЕЛЫХ МИШЕК

Их два брата: Макс и Рыжик. При двухметровом росте, весят они довольно таки «скромно» — под четыреста кило. Да и не белые они вовсе: шкура, давшая им название, где-то, с рыжийкой. Очевидно, это и послужило поводом назвать одного из близнецов-беглецов Рыжиком. Представьте себе клетку для этих исполинов да

ещё с бассейном, в который они поочередно плюхаются, взмывая столбы воды. При несоблюдении очередности, меж братьями возникают конфликты, заканчивающиеся громоподобными оплеухами с обеих сторон. А ведь они — титулованные в прошлом артисты! Ранее братья работали в номере заслуженного артиста страны Владимира Синицкого. Тот ушёл на пенсию, а его, привыкшие к грому аплодисментов, звёзды Арктики перекочевали к нам в зооцирк. Сядят они понуро в клетке и, как маятники часов, ритмично машут головами, создавая себе маломальскую иллюзию вентиляции. Время от времени, один из них поднимет лапу: прошу, мол аплодисментов... Но аплодисментов нет, и опять — понурость, и опять — головы — маятники. От такой жизни не грех и сбежать.

Клетку с белыми братьями обычно возил достаточно опытный водитель. К машине с Максом и Рыжиком даже не подцепляли прицепов с другими зверюшками. И это всё-при нехватке шофёров. А перегоны между стоянками цирка — не менее 500-600 км. И вот, чтобы не делать по два-три рейса да не мучить оставшихся на прежней стоянке зверей (те ведь не кормлены, не посны), мы, бывало, зараз ташили по два, а то и по три прицепа. Представьте себе эдакий зверопоезд! Мишек, как истинных аристократов Арктики, это не касалось.

В то жаркое июльское утро их повёз демобилизованный парень. Бывший пограничник, он пришёл к нам в цирк вместе с собакой Арзоном. Ну, о ней, как-нибудь, потом.

К нашему солдатику в кабину подсел не менее молоденькая зооцирковская бухгалтерша. Последствия? Они не преминули быть...

Нас ждали в Михайловке, что на Волгоградчине. Михайловка — старинный казачий городок: одноэтажные (в основном), основательной кладки дома, огородики. Но об огородиках — чуть позже...

Плétусь я с тремя прицепами (бурые мишки, пантеры, леопарды, ягуары, пумы и... семейство куриных — раздельно, конечно, с хищниками то на холм, то с холма. Пейзаж довольно-таки уныл: песок, песок и ещё раз песок. На одном из крутых спусков, уже, по подсчётам, подъезжая к месту назначения, вижу переадресованный прицеп, рядом же — глазам не верю! — в песке барахтаются белые мишки. Ну что они с детства видели: опилки, опилки да изредка — воду. А тут новая среда — песок! Надо же испробовать чем всё это пахнет.

Подъезжаю. Стараюсь тремя своими прицепами как бы полукольцом загородить мишек от пасущегося недалеко стада. К счастью, сам солдатик и пассажирка не пострадали, но в шоке: жмутся друг к дружке, словно ища поддержки. При падении передняя стенка прицепа вывалилась, предоставив полную свободу нашему Аяксам.

Подкатили другие наши машины. Мы тесным кольцом окружили место аварии. В ход пошли и рекламные щиты. А весу в каждом таком щите — 50 кг, да и окантован каждый щит стальным уголком. Мы с приятелем Рустамом начали оттеснять таким щитом Макса к перевернутой клетке. Пятясь от щита, тот начал, было, задом заползать в неё, да кто-то ретивый из персонала цирка ткнул его крайсером (приспособление на длинной ручке для чистки клеток) и разбил Максиму губу. Привстав от боли, Максюша махнул лапичей по щиту, тот «сыграл» по щиколотке моей левой ноги... Хруст, адская боль. Лежу на песке, на мне щит, а рядом с моей головой сидит громадный зверюга и слизывает кровь с губы. Ну, дела! Сейчас положит лапу на мою голову — и башка — как грецкий орех...

Отогнали Макса, вытащили меня из-под щита, засунули в кабину моего «Зилка» и убежали — тут не до болящего!

Главный администратор Калинин рванул на «Уазике» в Михайловку: о побеге дикой зверюшки должно быть моментально сообщено местным властям и милиции, да и пожарные предупреждаются, дабы в непредвиденной обстановке «утихомиривать» разбушевавшееся животное струями воды.

Шум и суета привлекли внимание пастуха (напоминаю: рядом паслось стадо). Тот подскочил к нам на лошади, желая, видимо, расспросить нас из-за чего этот сыр-бор, ан вылез тут из-под прицепа Рыжик! Конь, естественно, на дыбы, всадник — бряк на четвереньки и... носом к носу с мишкой! Храп коня, рёв пастуха и бешеный галоп: впереди летит всадник, за ним конь и замыкает тройку бегунов постоянно оглядывающийся, жалобно взлаивающий пёс.

Первыми прикатили пожарники. Бравые ребята быстро раскатали рукава, и давай поливать суетящуюся, бегающую туда-сюда толпу «циркачей» мощными струями воды. Ну, мишки, конечно воду, почуяли: в такую жару-то вода — благодать! Встав во весь свой исполинский рост, Макс и Рыжик грудью пошли на пожарников, точнее сказать, на струи воды. Надо отдать должное пожарникам: те пятились назад медленно, с боем.

Макса, всё-таки, с превеликим трудом ребята в клетку загнали, а вот Рыжик всё ещё шастал где-то под прицепами. Появилась машина «Спецмедслужба». Из неё вылез дородный милицейский лейтенант, перевёл кобурку с пистолетом на пудок, расстегнул её, и с вопросом: «Ну что тут у вас?», — подошёл к перевернутой клетке. Нагнувшись, он стал всматриваться внутрь. Привлечённый новым действующим лицом разыгрывающегося спектакля, Рыжик вылез откуда-то из хаоса прицепов и щитов и стал приюхиваться к галфястому задку милиционера. Тот обернулся, как-то равнодушно взглянул на мишку, отвернулся, потом повернулся ещё раз... Глаза его расширились, с нечленораздельным, то ли: м-м-м, то ли: а-а-а!, лейтенант в одно мгновение вскочил на капот одной машины, перелетел на другую, в два прыжка оказался у своей и закрылся в кабине, подняв стекло дверцы. На возмущённые крики директора цирка: «Вылезай, хоть подстрахуешь нас чуть-чуть!» — тот резонно ответил: «Не вылезу! У меня жена, дети...». Затем сей борец с алкашами что-то приказал водителю (кстати сказать, так и не вылезавшему из кабины во время этих событий), «вытрезвитель» чихнул ядовитым дымком и упылил.

Трагикомедия эта закончилась не в пользу беглецов. Братьев в клетку водворили. Сварщик с подоспевшей техлетучки выпавшую стенку заварил. Подъехавшим автокраном злополучная машина была поднята на колёса, и мы благополучно прибыли в славный казачий городок.

Вот теперь об огородах. Во многих из них я заметил мелькавшие меж грядок милицейские фуражки. «Что это? Милиция объявила месячник по борьбе с сорняками?», — подумалось мне. Чуть позже один экспансивный сельхозоселенец из Еревана пояснил мне обстановку: «Ка-на-пля рубьят, наркотика!»

Среди зооцирковских хищников нашей симпатией не был обделён и один, ну очень, очень привлекательный крокодильчик. О нём я расскажу в своей новелле.

ЧТО «ДОСТАЛО» ТОЛСТОКОЖЕГО ГЕНУ?

Флегматичнее нильского аллигатора, полутораметрового крокодильчика Гены, в жизни не видел. Помню, с какой «помпой» его встречали! Не хватало только музыки. Сопровождала его к нам в

цирк, кроме кучи всяких вет..., сама представительница «Союзгосцирка» из Москвы. «Ой, детки, ой, поймите!.. Из Каира!.. Это же куча долларов!..», — верещала она, закатывая глазки. А «куча долларов» — ноль внимания! Лежит себе в ванне с водой («Детки, строгая температура! Детки, питание!», даже плёнчатых век не раздвинет.

Но передвижной цирк это особая республика, не до-сантиментов. Не успела укатить московская дама, Гену — под мышки и на всеобщее обозрение плюх в ванну с температурой воды ближайшего пожарного крана — лежи, привлекай зевак, ибо есть его величество ПЛАН! И он лежит, только ноздри наружу. Не шевельётся. И кормим его в ванне: бросишь кусок мяса — ноздри исчезнут, через какое-то время в ванне опять плавает «бревно», лишь ноздри говорят, что оно дышит. Пошла мода среди «циркачей» — посылать домой (конечно — девушкам) фотографии такого плана: ты, я, имярек, стоим с Геной на руках; пасть у него раскрыта (если успеешь разжать её до того, как щёлкнет затвор фотоаппарата). Гена терпит, он — флегматик.

Ночлег ему определили в обезьяннике. Там сухо, тепло, да и общество «интеллигентное». Вытащишь, бывало, Гену из ванны, той, что на смотровой площадке, протрёшь (что сложнее) чистой ветошью; занесёшь в обезьянник. И он лежит себе в проходе между клетками и спокойно слушает перебранку обезьяньей публики. Подогрев водичку, сунешь крокодила обратно в ванну, а он — ни «спасибо», ни «спокойной ночи».

Тот крымский осенний день не предвещал ничего особенного. Солнце как солнце — жаркое; море как море — яркое. пляж, песок, красота! А к пляжу идти надо мимо нас. У моего приятеля, с которым, к тому же, мы делим жилой вагончик, среди направляющихся на пляж оказались знакомые. Несмотря на то, что мы с Рустамом дежурные (обезьянник, хоздвор, «шомполка»), друзей его приняли с истинно восточным гостеприимством. Не знаю, как вытерпели ресоры нашего жилища пляски подвыпивших гостей, но что в очередной раз, обняв «шомполку», я вдруг начал наяву «кемарить». Проснулся от тряски. Что, куда-то едем? Да нет, вроде. Голос Рустама: «Проснись, вода в ведре замёрзла!» Ничего не могу понять какое ведро? (а оно-то с питьевой водой стоит в тамбуре нашего вагончика).

В лицо плеснула огненная струя «чачи»: «Да проснись же ты!».

Ошалело тряс головой, машинально нащупываю «шомполку», наконец доходит: «Гена, да?» «Да, да!»

Пулей вылетаем из вагончика. Тучи каким-то свинцовым лезвием режут луну. Она, вскрикивая, то пропадает в них, то вновь появляется. И колотун!!! А Гена-то остался на улице!

В смотровой ванне тонкий слой льда. И откуда только взялись силы у нас с Рустамом перевернуть её! Забелело брюшко, стали видны скрюченные лапки крокодильчика. Подхватываю его с мокрого асфальта. Мечусь туда-сюда, не зная, в какую сторону бежать. Голос Рустама: «В вагончик!». Там, в своём родном убежище, насуха вытерли Гену всем содержимым наших чемоданов: Тот не подавал признаков жизни. Закутали его всеми одеялами, какие только нашлись, всем тёплым, что у нас было... Гена — ноль внимания! Включили две электропечки, поставили их с обеих сторон неподвижного тела «кучи долларов», сели на диванчик, призадумались.

«Я-а-кчи!» — чихнул Рустам и проговорил: «Ну, чё горевать? Раз такое дело, давай выпьем».

Проснулся я от фейерверка: перед глазами носился огненный шар, раскидывая во все стороны искры. Пахло палёной шерстью. Слышались какие-то непонятные звуки: то ли крикание, то ли стук кастаньет, то ли..

— Гена очнулся!!!

Через какое-то время нильский аллигатор лежал в обезьяннике и флегматично выслушивал сентенции своих «интеллигентных» сожителей. У этого толстокожего, в отличие от нас, даже ожогов не оказалось, не говоря о насморке. Цирк да и только!

Как-то в одной из новелл вскользь упоминалось имя нашего верного пса. А чуть поподробнее о нём в новелле:

АРЗОН И РАЗБОЙ

Вообще-то, пограничному псу свойственно охранять рубежи: комнатные, государственные или зооцирковские. В этом отношении Арзон честно ел свой хлеб, ибо нашему своеобразному заведению по штату положены и сторож с «шомполкой» (чью должность приходилось исполнять по очереди нам — «циркачам», в связи с неумением очередного кандидата на должность сторожа отличать понятия «приклад» от «прикладываться»), и сторожевой пёс, который должен охранять (?) того же льва Нерона или тигра Разбоя.

Тот разбой произошёл среди бела дня. И ведь парк-то в городе был центральный, и народу по аллеям было густо (воскресенье, да и мы со зверюшками в центре парка), а вот, случилось...

Подбегает к билетной кассе наша миленькая бухгалтерша (помните историю с белыми мишками?) и, потрясая чем-то вроде пояска или ремешка, заикаясь; сглатывая то ли слёзы, то ли... (не знаю), что-то там пытается объяснить. Первым «врубился» наш демобилизованный пограничник, рванул «в карьер» и скрылся. Кое-как мы поняли: у девчухи вырвали сумочку. «Кто?» — первый наш возглас. «Не-не-не знаю. Т-т-три па-парня...». «Пошли, покажешь!»

Тут нашу собравшуюся толпу буквально снёс дуэт Арзона на длинном поводке и его хозяина — «погранца». Двоица ломанулась по парку, мы толпой за ними.

Арзон упорно тащит нас в какую-то безлюдную боковую аллею. Галопом пронеслись по ней, спугнули несколько уединённых парочек (закралось сомнение в компетентности Арзона и его хозяина), боковая повернула в центральную...

И тут-то, на повороте, со скамейки вскинулись три парня — и бегом до центрального выхода! Не уверен, что их подвела неопытность или, что-то же самое, слабые нервы — нет! Несущийся на них пёс — здакое (так им показалось) четырёхлапое возмездие.

Бежали они отлично, но и мы не хуже. На вопрос милиционера, что стоял у входа в парк, мы успели крикнуть: «Разбой!».

Преследуемые напододали ходу. Бедный Арзон, хрипя, тащил на поводке своего «погранца». На удивление, милиционер нас обошёл.

Троица грабителей влетела в подъезд жилого дома. Сержант за ними. И тут наш «погранец» сделал «прокол»: отцепив поводок, он рывкнул Арзону: «Фас!».

Следует немая сцена: из подъезда, как в замедленной киносъёмке, трое грабителей головами долу, далее сержант, в одной руке фуражка, другой придерживает разорванную ягодицу (меж пальцами кровь), а за ними, более понурый, чем налётчики, наш пограничный пёс Арзон.

Да не виноватю я его. Если бы в парке ему приказали остановить бегущих, он команду выполнил бы правильно. А в данном случае последним по лестнице бежал сержант — вот пёс и обмишурился.

Когда разбойников оформили в опорном пункте милиции, когда

мы, сообщив данные о себе и подписав протоколы, уже собирались уходить, сержант вдруг сказал: «Ладно, что ваш цирковой пёс здоровый (в смысле, не больной), а то уколы! Не, уколов боюсь!».

Вот так-то: не грабителей — уколов!

Хотелось бы несколько строк посвятить ещё одной нашей всеобщей любимице. Итак, новелла:

ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА И ЖАЖДА ПИВА

«...Ален Делон не пьёт одеколон...»; — я бы добавил — «А наша Лара резвая даже пивом брезгует». Лара — чёрная огромная «домашняя» кошка, то бишь, пантера. Ласкова. Трётся о тебя такой зверёк, мурлычет, а ты — как былинка на ветру, вот-вот пригнёшься к земле от такой ласки. Чтоб Лара мяукала, я не слышал, а вот её грозное: «Х-х-х-ы-ы!» — довелось.

Жаркий летний день. Не просто жаркий — печёт! Мартеновская печь, а мы внутри неё. И это несмотря на то, что цирк расположился у излучины реки. Окраина города, но народу много, правда, пришёл он не пляиться на измордованных духотой животных (на их вывалившихся языках можно блины печь!), а «валиться», пардон, загорать. На всю округу — один единственный киоск. Очередь, повторил излучины реки, тянется и тянется живой рекой к возделенной влаге-пиву.

Мы, трое приятелей — «циркачей», сидим у вагончика и с тоской вглядываемся в колышущееся море шляп, панам, лысин, банок, бидонов, канистр. Нет, к киоску не пробиться!

«А директор цирка уехал», — лениво цедит один из нас. «А завсекцией (ветврач)?» «Тоже», — уже оживлённей выговаривает второй, смачным шлепком раздавив на лбу овода. «А у меня канистра есть», — уже чуть не кричит третий. Вскокаиваем, поняв друг друга с полуслова. Троица направляется к Ларе. Завидев нас, чёрная пантера, прервав полудрему, возбуждённо забегала по клетке, перекатывая шарики мускулов по гибкому блестящему телу.

И вот поводок, позаимствованный у Арзона (славного пограничного пса), пристёгнут к «строгому» (шипами внутрь) ошейнику Лары. Клетка открыта — вперёд!

Завидев толпу, пантера прижимает уши, дрожь возбуждения волнами перекатывается под чёрной гладкой шкурой, клыки обна-

жены. И вот раздаётся её воинственное «х-х-х-ы-ы», переходящее в змеинное «ш-ш-ш». Сливаясь, это образует нечто вроде «кыш» и «киш». Второе предпочтительнее, ибо после её «киш» толпа так «кишнула» в разные стороны, что тронца, а вернее, четвёрка оказалась у пустого прилавка.

«Пивная тётя» была так обрадованно-шокирована нашим визитом, что некоторое время пенная струя щедро поливала доски прилавка, упорно не попадая в наши, щедро подставленные ёмкости. Затаренные и довольные, возвращаемся к вагончику.

А в народе пронёсся слух о пантере, что пьёт пиво. И потянулись к нам на хоздвор смельчаки, вначале поодиночке, а потом, группами вооружённые крупнокалиберными ёмкостями. Но за Лару пиво пили мы. Ох, и попили мы его тогда!

«МОРЯЧОК» НА «МОРЯКЕ» ИЛИ РОДЕО ПО-КУКУЕВСКИ

В этой новелле — два героя. Один из них — Вася-морячок. Низкорослый (даже по моим меркам), довольно щуплый; Вася — служитель отдела копытных — прелюбопытнейшая личность! Ему свойственна атрибутика бравых моряков, то бишь: наколка на левой руке (то ли курица после разделки, то ли «перекуём мечи на...»; правда, Вася упорствует на том, что это — якорь) и, конечно, тельняшка. Ходит он вразвалочку, обращается ко всем неизменным: «Братишка!». Даже рабочие брюки на его тощих ногах кажутся клёшами. Сомневаюсь, служил ли он вообще в армии, но слабости его мы как-то игнорировали и даже, в какой-то степени, Васю любили.

Второй (и главный) герой — «Моряк». Это зебра полосатая. Злющая (её жёлтые, как у злого курлычка, клыки многие из нас испытали на своем теле), непредсказуемая и красивая, чёрт побери! Многие из нас пытались быть с «Моряком» накоротке, да куда там! Оскалится, всхрапнёт — уноси ноги. А вот Васе-морячку это удалось. Как? Вот об этом и рассказ...

По буйности нрава, зебра так раздербанила своё жилище, что назрел вопрос о его ремонте. Стало быть, надо переводить «Моряка» в новую клетку. Поставили пустой вагончик напротив, соединили новое и старое жилище переходным трапом, открыли дверцы —

иди «Моряк», справляй новоселье! А тот заупрямился, стал в дверях — ни туда, ни сюда! Кричим, понукаем, — ушами шевелит и... ни какую!

Тут наш Вася смело влезает на трап... А дальше, дальше было вот что... Под взбрыкнувшим «Моряком» трап «сыгрывает» — переворачивается. Конец его подкидывает вверх нашего Васю. Тот, энергично работая руками и ногами, эдакой лягушкой летит и приземляется на круп зебры. Смотрим: несётся по хоздвору чудотандем: «Моряк», а на нём (задом наперёд) — «Морячок». От такого насилия над личностью, наша зебра стала крушить все ограждения хоздвора, а Вася сидит себе эдаким кентавром, только голова болтается, как у тряпичной куклы. Дело запахло керосином, мы все мигом влетели на крыши вагончиков, такое родео лучше лицезреть не вблизи, а сверху.

То ли от постоянного нахождения в замкнутом пространстве у «Моряка» устали ноги, то ли понял он, что всадник крепко сидит в «седле», то бишь — на его зад, но зебра наша резко уткнулась в вагончик-туалет, и Васе головой пришлось открывать его, довольно таки, хлипкую дверцу.

Дальше всё было делом техники: «Моряка» отвели в новое жилище, Васю отмыли в близстоящей колонке. Короче — хэппи-энд!

Только после этого события стали мы частенько замечать нашего «Морячка» в обществе «Моряка». О чём они беседовали наедине? Уж, не о новом ли родео?

КОЕ-ЧТО О КОШКАХ

СНЕЖКА

Почему я, моряк, пишу о кошках? Есть несколько причин. А может, потому, что одна из них относится к курсантским годам? Очень даже может быть. Дело в том, что, будучи уже старшекурсником Невельской, что на Сахалине, мореходки, и имея возможность, не есть общекурсантские, казарменные хлеба, перешёл на жительство к приглашённой мне женщине (тоже, кстати, морячке, с которой познакомился на плавпрактике). А у нее была кошка Снежка, ну не кошка, а взрослый (по кошачьим меркам) котёнок.

Напротив восьмиквартирного, ещё японской постройки, барака стояли сарай, служащие в основном объектами для бункеровки углём и дровами, что так исправно согревали в долгие сахалинские

зимы. Жители, поначалу, и не подозревали, что в них-то, в этих сараях, и расплодятся одичавшие собаки. Не подозревали до тех пор, пока не стали исчезать их мурлыкающие любимцы.

Чего только не делали: пытались подкармливать собак, пытались как-то приручить, но те — дичали, «зверели», вымещая обиду на людей на их кошках.

Как-то, возвращаясь откуда-то по своим делам, брёл я по снегу, зарывшись в него чуть ли не по уши, высматривая в белой пелене знакомое крылечко. И вдруг заметил стаю собак, взявшую в круг какой-то предмет. И всё это молча, без рычания и лая. Что я мог подумать? А вдруг там человек? На всякий случай, для самообороны, наматая на руку курсантский ремень и рванул в центр событий. Собаки нехотя, молча, отгрызаясь, расступились. Не сразу заметил белую, на фоне снега едва заметную, кошечку. Она лежала на спине, пригвоздив свои коготки к последнему бою. Это была — Снежка.

Сказать, что после этого мы стали друзьями, значит — ничего не сказать. Мы стали — «корешами»! В моё отсутствие она беспокойно бегала по квартире, заглядывала во все уголки, не ела, жалобно глядя на свою хозяйку и, как бы выпрашивая её: ну куда ты его дела? Ну а курсантские сессии для Снежки были просто пыткой! Она их как-то предчувствовала: проводить меня через весь город до «бурсы» считала своим долгом. Гони её, не гони — бесполезно! Будет красться за тобой, да так, что и не заметишь.

Так получилось, что хозяйке Снежки пришлось срочно уйти в море, а мне вернуться в казарму училища — готовить дипломный проект. Не было меня в том бараке дня три. Знал, что соседка присмотрит и за кошкой, и за квартирой (сам ей дал, на «пожарный» случай дубликат ключа, мастерски изготовленный кем-то из курсантов-первокурсников в училищных мастерских).

Первое, что я увидел, когда вырвался в тот барак, это сухую булку на полу... Услышав, что её зовут, из-под стола выползла Снежка и тут же стала котиться. Ведь терпела, бедная. Ждала, верила, надеялась.

ПУШОК

У мотоботчиков служба такая, что в любое время суток может прозвучать команда: «Мотоботы — на воду, курс — такой-то, СРТМ — такой-то, есть рыба!» А работали мы тогда в Токийском заливе на рыбке иваси. Тогда рыболовная зона была ещё трёхмильной. А в

случае каких-то непредвиденных обстоятельств (поломка двигателя, метеоусловия, травма члена экипажа), можно было аврально подходить к чужестранному берегу, то бишь, сделать незапланированный заход в порт.

У нас забарахлила рация. Курс до судна, которое заловилось рыбой, нам известен. Вот и чапаем на мотоботе до... Туман накрыл нас, ну просто одеялом стёганным. Этого «до» не видно. Рация молчит. Старшина мотобота сетует, дескать, по времени давно пора и уткнуться в нужное нам судно. Вылезаю из рубки: ну уж очень хочется глотнуть свежего воздуха! Старшине и матросам чуть легче — они на палубе, этой свежести глотают, сколько хотят! После грохота дизеля, в кажущейся для меня абсолютной, тишине, как-будто слышу мяуканье. Спрашиваю у своего шефа: «Ничего не слышишь?» Тот: «Вроде, маяк». Перегибаюсь через борт и двояственно: «Мху!» Опускаю руку, в неё что-то такое вцепилось и ползёт по ней к плечу, руке больно от невидимых когтей. Когда это «что-то» добралось до моего плеча, увидел мокрого и испуганного котёнка. Сколько он был в воде, кто его туда выбросил — осталось загадкой. Иностранца назвали Пушком.

А объект нашего похода — СРТМ (средний рыболовный траулер-морозильщик), у которого были в порядке и локатор, и рация, видя, что мы проскакиваем мимо него и получив соответствующую инструкцию от нашего большого начальства (а вдруг — побег за «кордон?»), утопили свой улов, вместе с тралом, догнали нас и взяли на буксир.

А Пушок прижился в моей каюте, что поначалу, вызывало бурные протесты ещё одного жильца-собаки Мишки. Тот, поначалу, отгрызался на нового квартиранта, потом, молча, игнорировал, ну а потом они зажили как «кошка с собакой», то бишь, очень дружным, спяльным коллективом.

Отстой на острове Шикотан предполагался трое суток. Экипаж, естественно, повалил на берег (остров невест!), а с экипажем покинули борт корабля и Пушок с Мишкой. К выходу в море, на борту недосчитали трёх членов экипажа: матроса и Мишку с Пушком. Отстали!

Когда Шикотан стал еле видимым, нас догнал РС (рыболовный сейнер). Быстренько привязали его к нашему борту, боцман опустил на борт гостя транспортную пассажирскую корзину.

Мы приняли корзину, на свой борт, аккуратно поставили её на палубу, открыли дверцу... Из неё выбежал Мишка, за шкурку он легонько тащил упирающегося всеми четырьмя лапами Пушка.

Как потом рассказывали ребята с РС-ки, матросы уже убрали трап, когда увидели на нём живописную пару: кот с собакой. Те, не обращая никакого внимания на суеющуюся, готовящую корабль к отходу, команду, стали суежливо бегать по палубе, дескать, доставьте нас на родной «пароход»! Прочитали на Мишкином ошейнике название нашего судна, сопоставили это с тем, что судно наше, незадолго до этих событий, покинуло порт, ну и пришли к выводу: загулявшую на берегу, а по сему, отставшую, парочку надо доставить на родное судно!

Пушок, впоследствии, ещё долго потчевал членов экипажа задушенными им «судовыми белками», то бишь, крысами. Сам-то он их не ел — брезговал!

РОМ — ЦЫГАНСКИЙ КОТ

С морями было покончено. И покончено, как мне казалось, навсегда. А море-то — штука приставучая, тянет!.. Частенько я бродил по пирсу, якобы, интересуясь только тем — клюёт или не клюёт у рассеявшихся по всему берегу «рыбаков», как и я, бросающих тоскливые взгляды вслед уходящим кораблям.

Я заметил, что за одним из таких рыбаков постоянно ходит котёнок. Появляется он ниоткуда и тут же исчезает в никуда, словно растворившись в воздухе, когда получит от рыбака маленькую рыбёшку. Бетонные надолбы, раскиданные вдоль берега кузовами большегрузных автомобилей, служили для укрепления побережья от набегов морских волн и, очевидно, убежищем тому таинственному котёнку. Заинтересовавшись этим созданием, я накопил всяких рыболовных принадлежностей, какую-то японскую удочку с «наворотами» и стал регулярно появляться на морском берегу. Или от того, что не был любителем этого способа времяпрепровождения, или от дилетантства в этом деле, но мне не очень-то везло. Котёнок постоянно появлялся у ног того рыбака, получал положенную ему порцию добычи и исчезал.

Пропал тот рыбак, больше я его не видел. Котёнок потерянно бегал по берегу, жалобно мяукая, но подачек от других рыбаков не

брал. И всё-таки я завоевал его доверие, да и то, после того, как стал рыбачить на месте того рыбака. И что странно, рыбка стала клевать!

Про себя я стал называть кота — Ром (цыган) и за его любовь к воле, и за верность, и за чёрный, без единого пятнышка, цвет.

Прожили мы с Ромкой в малосемейке общегития моряков недолго. За это время он умудрялся несколько раз спрыгивать с подоконника пятого этажа на клумбу с жалкими подобиями цветов и при этом даже не получить царапины. Поздней осенью уходили мы с Ромчиком в море. О чем он думал, глядя на удаляющийся берег? Скорее всего, о том, что, вернувшись, обязательно найдёт того рыбака и поделится с ним частью той добычи, что выловит он в океане.

МУРЗИК

Шикотан-Мекка для рыбаков. И не только потому, что прибрежные воды — дельта для всякой, не встречающейся в других водах, рыбы. Есть и другая причина: во время путины наезжают на этот остров красавицы со всего Союза. Что остаётся морякам? Выбирать. Вместе с моряками на берег (всё-таки, постоянно уходящая из-под лап палуба, надоедает!) выскакивают и кошки. Выскакивают, отстают от своего парохода, пропадают, несмотря на любовно сделанные умельцами экипажа ошейники: такой-сякой, номер такой-то, судно такое-то).

Побродят, побродят по острову кошки... Кто останется, найдя себе партнёра, а кто свернёт себе шею, упав со скал, ударившись о прибрежные валуны, оставаясь там умирать... Но только не Мурзик!

Наш мотобот пришёл за пресной водой. А набирать воду, летящую с адским грохотом с зоблачной высоты, непросто. Тут надо иметь и навыки скалолаза, и дублёную шкуру — вода-то ледяная! Сначала, конечно, ведётся подготовительная работа: дно трюмов мотобота устилается брезентом, затем на высоту поднимается здоровенная воронка с закреплённым к ней шлангом и тросами крепится на вершине так, чтобы струя водопада была в воронку. Чем выше закреплена эта воронка, тем больше напор в шланге. Ну, вроде и всё! Конец шланга — брезентового рукава опущен в дно трюма, набирай — не хочу чистой водичку! Ан-нет! То струей воронку сошьёт (начинай всё заново!), то матросы устанут держать рукав — надо их заменить... В общем, работёнка адова, не до любований природой.

Не так-то просто было заметить в этом грохоте и брызгах ползущего к мотоботу кота. Заметили. Кто-то сунул мокрое дрожащее тельце себе за пазуху. Судовой фельдшер сделал, всё, что мог. Кот выжил, но вот шея его так и осталась искривленной. Подходило мое время списываться на берег. На судовом форуме мне разрешили взять кота с собой.

Ребята, уходящие в отгулы или отпуска, и частенько навещавшие меня, удивлялись: этот, уже старый, поседевший кот чувствует своего брата-моряка и трётся о его ноги своей искривлённой шеей.



Из сериала ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

КОЧЕГАР ПОНЕВОЛЕ

Говорят: как придёт и пройдёт новогодняя ночь, так и наступивший год будет весёлым – невесёлым, счастливым – несчастливым, богатым или небогатым на впечатления.

Те новогодние вечер и ночь послужили темой для этого повествования.

Не секрет, что для работающих посменно, все предпраздничные хлопоты начинаются с детального изучения графика. Выглядит это примерно так: «...ого, два воскресенья, чёрт! Ага, 31-е??? Ф-фу, Новый год с семьёй встречу, всё – пучком!

Вот и я, согласно графику, в этот предновогодний вечер, под чутким руководством жены, бегал по магазинам, таскал сумки, авоськи. Затем что-то резал, исходя слезами, что-то мял, тёр, время от времени поглядывая на часы и, с каким-то угрызением совести, подумывая о тех, кому выпало в это время быть на работе, то бишь, править вахту. Ну, ничего: успокаивал я себя: за тех, кто вахтит – первый рюмаш.

В праздничной колготке, в шуме застолья, я как-то забыл и о работе, и о тех, за кого – первый тост. Ан, напрасно!

Компания подобралась весёлая. За смехом, шутками разговорами типа: «...ты меня л-любишь?, за нестройными песнями время летело незаметно. И всё-то было бы хорошо, если не счёт, что вела моим рюмкам жена (что тебе – рефери в ринге: один, два...), и если бы не мигающие лампочки гирлянды на ёлке: точки, тире... СОС что ли?

Владимирыч, наш мастер теплоучастка, вытащил меня из-за стола в двенадцатом часу ночи. На все расспросы как отрубил: «Надо покочегарить. Новый год, а люди замерзают, пошли!». Чертыхаясь: «У, пень непьющий!» – поплёлся я к ожидавшей нас машине – летучке. По пути начальник разъяснил обстановку: С микрорайона звонили. Батареи холодные. Видать, там кочегар «скин». Я поехал по адресам: все свободные от вахт – в ауте. Черти, не могли потерпеть... Хорошо – ты в норме». Эх, подумалось, не могла жена досчитать до девяти! А там, глядишь, к бою курантов оклемался бы.

Странно, кочегарка нас встретила теплом и шумом работающих механизмов. Что за чертовщина? У котла – бабулька. Из тех, что зовутся «божьими одуванчиками». Платок откинут на плечи. Глаза

подслеповато упёрлись в манометр. Вот она схватила лопату и начала подкидывать в топку уголёк. И всё это так профессионально, что мы с мастером залюбовались ею. «И долго так кочегарите?» – это Владимирыч, «Да с полчаса. Ваш-то – утухший. За котлами, на топчане лежит. Я ему телогреечку под голову подложила. А замсы всё нет и нет! Ну и решила вспомнить молодость: мне ведь кочегаром на ледоколах пришлось поработать. Дело привычное. «Спасибо вам, мать! Вахту принимаем. Идите домой. Отдыхайте», – с уважением сказал Владимирыч. И добавил ей вслед: «Вот таких мне кочегаров – горя бы не знал!»

За работой я забыл и о Новом годе, и о весёлой своей компании. Время летело.

Бабулька появилась в кочегарке часа через четыре, «что, хозяйюшка, никак, плохо топлю?» – с беспокойством спросил я у ночной гостьи, «Да нет! Я тут тебе наливочки принесла да чего-нито, закусить. Наливочка, видать, хороша – гости джоже хвалили!»

Так и продежурила со мной до утра эта удивительная отставная кочегарша. Поначалу, думалось, не доверяет. Потом понял: скучно ей одной в такую ночь. Гости разошлись, поговорить хочется. Рассказчица же она – отменная. Её живые повествования, да еще с острым солёным словом (которое всегда к месту) – это отдельная тема для рассказов. Так что о той, незапланированной, ночной, новогодней вахте, я несколько не жалею.

НОВОГОДНИЕ КОСАЧИ

Мне с моим другом Марсом по пятнадцати лет. Но считаем себя завзятыми охотниками. Вот и этот Новый год, решили встретить трофеями в виде тетерево-косачей. Конец декабря был бесснежный. Бедным птицам приходилось мёрзнуть, ночуя на ветках деревьев, а не в тёплых снежных домиках-лунках.

Экипированные по всем правилам охотничьей премудрости, отправились мы в ближайший лесок. А это километров пятнадцать! Поначалу споро шагали, болтая обо всём и ни о чём. Затем приустили, не до разговоров. Марс отставать начал, часто останавливаясь, чтобы поправить лямки рюкзака.

– Давай свою котомку, – говорю ему, – а то и до Нового года до леса не доберёмся.

Поменялись рюкзаками. Марс повеселел. Но теперь отставать начал я.

— Да что у тебя там, кирпичи, что ли? — ворчу потихоньку.

— Вот именно, — замечает Марс.

— Что «вот именно»?.. — и тут до меня что-то доходит, — Шутишь!

— Отнюдь. В охотничьем деле кирпич — суть главное.

И ведь не шутил мой славный товарищ. Таскал он с собой на охоту четыре кирпича и ёмкость с керосином.

Доплелись до леса. Осмотрелись. Деревья чётко отпечатывались на фоне угасающей зари... Заметно подморозило.

— Глади — сидят! — шепчет Марс. — Да не там, левее. Видишь?

На вершине берёзы, что на поляне, видны силуэты трёх косачей. Пристраиваемся поудобнее, начинаем пальбу Тетерева почему-то не падают и даже не улетают. Входим в азарт... Не падают и не улетают.

— Вроде кто-то свистит, — говорю.

— Кому тут свистеть, — парирует Марс, — лешему?

Прислушиваемся. Свист начинает перемежаться криками и отборным матом. Из-под берёзы к нам бегут три фигуры, яростно потрясая ружьями.

Мысль: «Не сиделось дома! А сейчас вот бить будут».

Выяснилось: палили мы с Марсом по чучелам, что должны были приманивать живых тетеревов. Пришлось нам с хозяевами за «раздербаненных псевдотетеревов» расплачиваться флягой со спиртом, прихваченной тем же предусмотрительным Марсом. Что-то после такой «охоты» домой идти расхотелось. Мы с Марсом поёрлись в лесопосадку, облюбовали ёлочку попушистее и стали её наряжать. В ход пошли стрелянные гильзы, пыжи, конфеты. Пригодились и злополучные кирпичи. Политые керосином, они ярко полыхали, создавая уют и тепло. Встретили Новый год лимонадом, подогретым над кирпичами. Поплясали вокруг нашей живой ёлочки. Марс положил мне руку на плечо: «Поклянись, что никогда не забудешь этот Новый год!»

— Марс! Я не забыл. Я помню. А ты?



«МИНОМЁТ» — НА СТОЛ!

Студенческая жизнь чревата разного рода приключениями, особенно, ежели ты студент техникума. С одной стороны ты — взрослый, ибо решаешь некоторые проблемы самостоятельно, а с другой стороны (ну конечно, со стороны преподавателей!) — ты ещё — дитё неразумное и за тобой глаз да глаз!..»

Мы, будущие выпускники, возмнившие себя совершенно взрослыми и, чего греха таить, познакоившимися с Бахусом, стали проносить на техникумовские вечера спиртное, сиречь крепёное вино, таким образом игнорируя все запреты высокого начальства. Делалось это так: в тубус для чертежей — это, знаете, такая толстая труба из картона, закрываемая крышкой, закладывалась «горючее» вместо чертежей, а сверху — скатка из ватмана: дескать, мне не до танцулек — чертежи делать надо! А чертежные кабинеты всегда бывали загружены вечно неуспевающей, суетливой студенческой публикой, освобождались только по вечерам да и то не всегда — ведь ещё есть «вечерники». И, как бы там ни было, с рук сходило! Но...

Опять это пресловутое НО...

В один из таких вечеров смело влетаю в здание своей «АЛЬМА МАТЕР», вижу, вернее, нос к носу сталкиваюсь с нашим милейшим завучем, и этот милейший человек рывкает голосом, громом прозвучавшем в притихшем холле: «Миномёт на стол!»

Да! Это был один из наискучнейших новогодних вечеров. А завуч-то наш оказывается, всю войну провоявал миномётчиком!

«МЯСНИКИ»

Телецентровские мальчишки славились своей бесшабашностью и любовью к риску. Ведь именно из их среды вышли отчаянные мотогощики, парашютисты и горнолыжники.

Они были обыкновенными мальчишками, но звание «телецентровский» обязывало. Показать себя трусом?! Ну, нет! Вот и домали себе руки, ноги, сворачивали шею, самостоятельные мотоциклисты, лыжники, верхолазы. Собирая по кусочкам очередного маленького пациента, хирург был убеждён: «Опять телецентровский!»

Дружный то был народ, сплочённый. Силу его коллективизма не раз испытывали на себе ребята из Старого города. Цыганской

поляны, Нижегородки... Но в нашем сплочённом стаде была паршивая овца, вернее — две.

За давностью лет не помнятся их имена: «мясники» да «мясники». Они были близнецами. Один из них родился чуть раньше на какие-то минуты, чем очень гордился. Вот и прозвали его — «мясник старший».

Почему «мясники»? Да с детства отличались кровожадностью. Сколько помню, вечно они у себя в сарае то стреляли из поджигов, то метали ножи в какое-нибудь обезумевшее от боли животное.

Не раз мы, пацанва, пытались проучить их всем двором. Те отбивались чем попадая, крепко прижавшись друг к другу, размазывая соплю и кровь... И всё это молча!

Со временем отступились, махнули на них рукой: своих не трогают — и ладно! Мы смотрели на них с омерзением, смешанным даже с долей ужаса. Они нам были непонятны и тем страшны. Даже на коллективные «разборки» их старались не брать: уж очень жестокими и беспощадными в драке были эти «мясники».

А вот родители их являли полную противоположность своим чадам. Они маленькими серыми мышками проскальзывали по двору, здороваясь со всеми, даже с нами, мелкотой; и в фигурах их сквозила какая-то униженность и забитость. Помню, при встрече с ними всегда хотелось сказать что-то тёплое, ободряющее. Жалел я их почему-то...

А «мясники» рано начали колесить по колониям, то, сменяя друг друга, то, попадая туда вместе...

Прошли годы, десятилетия. В один из отпусков ностальгия привела меня в родной город. На центральной улице, у оперного театра, я нос к носу столкнулся с Валеркой «Бамбулой», другом детства и юности.

В ресторане, за столиком, разговоры вертелись вокруг фразы: «А помнишь?» Вспоминали друзей детства: кто жив, кто кем стал, кто умер. И вдруг «Бамбула» (ныне ответственный работник республиканской прокуратуры) спросил: «А помнишь «мясников»? Меня аж передёрнуло, словно я, как в детстве, вглядываюсь в серопотусторонние глаза братьев, пытаюсь найти в них хоть искорку живого.

Валерка мне поведал о финале похождения братьев. «Мясник младший», по официальным документам начальства колонии, упал

в вырытую траншею, напоролся на лом и умер во время операции в лазарете. «Свои его зашибли, — сказал Валерка, — ведь они там — тоже «по понятиям». А у «младшего» какие понятия? — «Мясник» он был, и всё тут».

Ну а «старший»? «Старший» был объявлен в розыск. Его безрезультатно искали. А потом мальчишки... Помнишь Цыганскую поляну? Так вот, в одном из заброшенных сараев мальчишки, играя, обнаружили полуразложившийся труп, прищёпленный, как бабочка иголкой, проржавевшей заточкой к полу. По фрагментам татуировки и опознали «мясника старшего».

«ТЫ МНЕ ВСЮ КОММЕРЦИЮ...»!

Игорешка Давыдов ударился в бизнес: сдавать вступительные экзамены в вузы за денежных оболтусов. Сам он нигде не учится — лень. А башка у него светлая, надо отдать должное, к тому же — феноменальная память!

Так вот, Игорешка умудрялся за день сдать экзамены в три престижных учебных заведения: нефтяной, авиационный, медицинский институты и, мимоходом, в университет. Ему не «слабо» сдавать и в сельхоз, и в пед... Была бы духовная академия, он и туда бы сдал — эрудит! Фирма, состоящая из одного члена, процветала, обрастая многочисленной клиентурой, ибо авторитет Игорешки был непрекаем, подтверждён отсутствием сбоев...

Лавры старшего брата, его финансовые успехи, не давали покоя младшему — «Пинде»! Вот и решил «Пиндя», выдав себя за Игорешку, сделать свой маленький «гешефт». Нашёл клиента для поступления в (непристижный, для начала) сельхозинститут, пошел на экзамен и... конечно же «провалился»!

И вот сидит он за столом с фингалом под глазом и что-то бубнит себе под нос, глядя в учебник. Игорешка бегает вокруг стола и ревет: «Зубри, тупица! Я с тебя не слезу, пока весь учебник от корки до корки... Ты мне всю коммерцию сломал!»

И ВАСЯ ЗАПЕЛ...

(Рассказ)

Встретить Новый год машинная команда плавбазы решила основательно. В понятие «основательно», чего греха таить, моряки,

находясь вдали от родных берегов, вкладывают и выпивку, и закуску, и хороший флотский треп. Главная проблема — выпивка. Впрочем, как говорят: «Голь на выдумки хитра, а алкоголь — ещё хитрей!» И вот в глубокой, естественно, от начальства, тайне (ох уж эти морские уставы!) командой был подготовлен ряд «мероприятий» по производству алкоголя в масштабах одной плаывединицы.

Для начала сварили браженцию: Тут уж постарались ребята из «преисподней» — машинисты паровых котлов. «Мотыли» (в переводе на сухопутный язык — мотористы) изготовили оригинальный самогонный аппарат. «Светилы» (электрики) тоже внесли свою лепту, сконструировав электроплитку, чуть ли не устанавливающую режим выпуска возделенной алаги. Под опреснителем, что в котельном отделении, соорудили из досок настил, в котором и установили уникальное оборудование.

Во избежание незапланированных визитов «чифа» (старпома) и «деда» (стармеха), «спиртзаводик» решили пустить в действие за два часа до наступления Нового года.

И вот Вася, котельный машинист, приступил к ответственной операции. Вышло это по двум причинам: его вахта до полуночи, и он являл собой пример стойкости в воздержании от алкоголя. Правда, на берегу потребил он еб, родимую (или проклятую?), в неизмеримых дозах, отдаваясь загулу «Во всю Ивановскую!»

Всё шло по намеченному графику: самогон исправно капал, Вася не менее исправно его... дегустировал. А ведь знал Вася, что «сивуха» имеет зловерное свойство разжигать нежелательные аппетиты, да понадеялся на свои силы да на русское «авось». И зря. Ибо в операции «Самогон» было учтено всё, кроме фантастически острого чутья «деда», ну и, конечно, слабавато проведенной «политработы» с Васей.

Спускается «дед» в «коцегарку», по трапу, видит: у котлов — никого. Голоском его Бог не обидел, однако на крик: «Где котельный?!» — никто не отозвался. А означенный машинист, со знанием дела откушивал под опреснителем очередную порцию самогона, успокаивая свою совесть тем, что это — для пробы.

Ему стало хорошо. Ему стало весело. Захотелось запеть. И Вася запел...

Из цикла Друг мой Лёвчик

...и вот Вася, котельный машинист, приступил к ответственной операции. Вышло это по двум причинам: его вахта до полуночи, и он являл собой пример стойкости в воздержании от алкоголя. Правда, на берегу потребил он еб, родимую (или проклятую?), в неизмеримых дозах, отдаваясь загулу «Во всю Ивановскую!»

Всё шло по намеченному графику: самогон исправно капал, Вася не менее исправно его... дегустировал. А ведь знал Вася, что «сивуха» имеет зловерное свойство разжигать нежелательные аппетиты, да понадеялся на свои силы да на русское «авось». И зря. Ибо в операции «Самогон» было учтено всё, кроме фантастически острого чутья «деда», ну и, конечно, слабавато проведенной «политработы» с Васей.

Спускается «дед» в «коцегарку», по трапу, видит: у котлов — никого. Голоском его Бог не обидел, однако на крик: «Где котельный?!» — никто не отозвался. А означенный машинист, со знанием дела откушивал под опреснителем очередную порцию самогона, успокаивая свою совесть тем, что это — для пробы.

Ему стало хорошо. Ему стало весело. Захотелось запеть. И Вася запел...

КАРУСЕЛЬ

— Кончай почевать! Мой друг — раввин так говаривал: «Два рубля — это много больше, чем один. Ну а мы имеем десять. Так что кончай почевать!»

Голос Лёвчика тяжко доходит до моего затуманенного сознания. Откидываю уже иссохшую простыню (перед сном мы их смачиваем водой в эти знойные среднеазиатские мгновения яви и небытия) с трудом поднимаюсь. Лёвчик уже на ногах. Рыжеватая (почему-то!) в кольцах борода его воинственно топорщится. Большие, с какой-то виноградской поволокой, глаза его в упор бьют меня: «Как? Ты ещё не одет?» Одеваюсь нехотя, с усилием. Провожу рукой по физин: «Опять щетина! А, ну и хрен с ней!» То ли от духоты, то ли вчерашнее застолье виной тому, но башка гудит!

«Итак! Наши планы, — это Лёвчик — идём в парк, берём бутылку вина — и на карусель! «Карусель это его слабость, так же, как тир и... свадьбы (чужие, разумеется). Здесь следует сделать короткое отступление».

Узбекские свадьбы имеют свою специфику, свои определённые обряды. Несоблюдение их чревато весьма нежелательными последствиями. Но космополиту Лёвчику всё сходит с рук. Он, явно не приглашённый, с неизменной гитарой, с огромным крестом на груди (интересно, у какого попа-расстриги он его выменял?) отправляется на свадьбу. Не приглашённый, к незнакомым людям. Пытаюсь остановить его — ведь бить будут! Бесплезно. И что же вы думаете! Возвращается с неё живой-здоровый, возвращается верхом на ишаке в сопровождении, какого-нибудь из родственников жениха (как бы чего не случилось с дорогим гостем!), громко распевая (это в те времена!) гимн «Боже царя храни».

И вот представьте моё состояние, когда, добредя до парка и купив вина, мы, по настоянию друга, оказались на карусели. Тут «в грудях тоска», а эта — крутится, крутится! Да ещё эти смешливые девчонки на передней скамейке (карусель — вертящиеся скамьи, подвешенные на цепях)! Ох, тоска, тоска вселенская. А тут ещё солнце начинает раздувать свою жаровню...

Но моему Христосу — Лёвчику до этого нет никакого дела. Раскачивая наше утлое сиденье, парящее где-то там, в адском пламени, он упорно тянется рукой до скамейки тех, смешливых...

Как в замедленном кино, вижу вываливающеся и нелепо машущее руками, аки сломанными крыльями, тело друга, слышу тоскливое и вразной: «Ах!» соседок, каким-то, опять таки, кинематографическим взором охватываю бетонированную площадку под аттракционом, окружённую полуметровой ширины цветником (тот, в свою очередь, опоясан полуметровой высоты стальной изгородью, которую венчают острые пики).

Это последнее, что я вижу, ибо плотно зажмуриваю глаза, уши, душу... Прихожу в себя от крика: «Витька, Витька! Она цела!» А ведь голос-то Лёвчика! И точно: стоит мой друг посреди цветника (это везение!) с простёртой к небесам правой рукой, как бы осеняя... бутылкой эту чёртову карусель, а левой как-то стеснительно держится за что-то сзади. Не дожидаясь полной остановки скрипучей техники средневековья, спрыгиваю на площадку и, под брань хозяев карусели, лечу к другу. Я безмерно счастлива; я... я хочу что-то хорошее крикнуть ему, но, булькая и клопоча, из души рвётся рыдающий, цветистый, узбекско-таджикско-русский мат.

Бутылка выпита, стресс как-то ушёл вглубь, но желанного блаженства и успокоения нет.

— А может ещё? — пытаюсь вернуть к реальности ушедшего в себя Лёвчика.

— Можно и ещё. Только пройдемся сперва по базару.

Лёвчик заглядывает в каждую лавочку, в каждый магазинчик, словно манит его какая-то неведомая ни ему, ни, тем более, мне, цель. Меня это удивляет и бесит.

Вдруг он останавливается, как вкопанный, у прилавка «Кожгалантерей». Вся его фигура — глубочайшая заинтересованность, глаза — полное внимание. Что же его так заинтересовало? Кошельки или белявенькая продавщица? Впоследствии оказалось: и то, и другое.

«Девушка, а можно вот этот кошелёк получше?», — ангельским голосом вопрошает Лёвчик. «А вот тот? Нет, который левее. Да нет, красавица, рядом с тем, на который Вы свою прелестную ручку положили!» Так продолжается ещё некоторое время. На мой взгляд, все кошельки одинаковые. То же самое читается и в глазах хорошенькой галантерейщицы. Терпению её приходит конец: она хватается кипу кошельков и кидает их восром перед азыскательным покупателем. Лёвчик двумя пальцами берет один из них и важно произносит: «Сколько эта кошка... гав... терях стоит?» Платит пятёрку (Бог

ты мой! нашу последнюю пятёрку!) и уходит. Плетусь за ним к выходу из базара; злюсь на Лёвчика, на весь белый свет.

На безлюдной аллейке Лёвка круто оборачивается ко мне. В руке его тот злополучный кошелек. Он раскрыт, он туго набит купюрами. «Вот так-то», — говорит Лёва. Глаза его печальны печалью многих поколений, далеко не счастливых, предков еврея Лёвчика.

В голове моей тесно от роя далеко не порицательных мыслей, но изрекаю: «Лёва, ну как ты мог? Ведь той девчонке...» «Оставь её. О ней разговор особый. А деньги? Что деньги! Али мы не высотники?!» Так-то оно так, зарабатывали мы по тем временам весьма недурственно: Ну а продащица?.. Впоследствии встретил я её как-то в парке. Шла она по главной аллее в сторону карусели. Шла в обнимку с парнем. Этим парнем был Лёвчик, и мне сразу стали понятны и фантастическая щепетильность его в одежде последнее время, и частые отлучки вечерами, а главное, его не менее фантастическая бережливость, граничащая со скупостью в отношении, к нашим общим финансам. Вот такая карусель!

АБОРИГЕН

Как-то одна старушка, приятелева мамаша, женщина, не лишённая любопытства, спросила у меня: «Сынок! Так кто же ты по нации?». «Абориген», — не задумываясь, ответил я. Это было и правдой, и неправдой одновременно. Неправда в том, что абориген-то я лишь на своей малой, малюсенькой родине. Правдой? Да везде я у себя дома! Везде — абориген, даже в Австралии. Так я думаю. Как стал аборигеном? А вот поездите по стране с моим другом Лёвчиком Матнаевичем, сами аборигеном станете. А познакомились мы с Лёвчиком так...

Заледенелое стекло тамбура вагона не остужает. Лоб горит. Во рту сухо, но нет ни сил, ни возможностей добраться до титана с водой. В ушах всё ещё звенит голос бывшей (уже бывшей!) жены: «Убирайся, постылый! По-эт!!!» Поезд куда-то катит, катит... Куда? А, какая разница!

Хлопнула вагонная дверь. Кто-то остановился подле меня. Чиркнула спичка. «Куда едем? — это ко мне. Я обернулся. Передо мной стоял парень в чуть рыжеватой, в колечках, бороде. Глаза чуть навывкате, по-семитски — грустные (и это при широкой улыбке на

горбоносом лице). «Иисус Христос, ни дать, ни взять», — вяло подумалось. «Не знаю, — ответил я — куда-нибудь». «Э, брат, да ты горюшь весь! — бросил мне «Иисус» — айда в вагон, лечить тебя буду». «Не могу, нет билета, я ведь в вагон на ходу... Боюсь нарваться на кондуктора». «А! — рыжебородый ещё шире улыбнулся, — Как говорил наш месточковский кассир с автовокзала: «Гражданин! Ще за щом? Сей момент усех обилетироваю». «Деньги есть? — спросил меня неожиданный сочувствователь — А то я...». «Да есть какие-то», — перебил я его и протянул смятые в комок деньги. Тот, взяв их, нырнул в вагон.

Я снова уткнулся в дверное стекло, затянутое морозом. Мне было безразлично: обманет ли меня тот, с бородкой, вернётся ли с билетом... Полное оупение, полная апатия. А колёса под полом тамбура всё выстукивали: «Пло-хо-те-бе, пло-хо». Да! Колёса правы: впереди непонятное, неизвестное, впереди — мрак! Из полузабытья меня вывел весёлый голос: «Пошли, брат, в вагон. С кондуктором всё устроилось. Так что, шагай смело за мной».

В купе с новым попутчиком мы оказались вдвоём. Я хотел сразу же упасть на жёсткий диван и забыться, забыться тяжёлым, изматывающим сном, но Лёвчик (так, оказывается, звали «Иисуса Христа») меня остановил: «Погоди, не ложись — лечиться будешь». Он достал из видавшего виды чемоданчика бутылку с чем-то голубовато-прозрачным, нехитрую закуску, пакетики с солью и ещё с чем-то. В два складных «охотничьих» стаканчика налил из бутылки, в один из стаканчиков высыпал содержимое одного из пакетиков и протянул этот стаканчик мне. Пододвинул стакан с остывшим чаем: «Запьёшь». Я влил в себя содержимое «охотничьего инструмента» и... Огненная спиртово-перцовая смесь обожгла гортань, мешая дышать, выжимая крупные слёзы. Только минут через десять, кое-как отошел, но на стол стал поглядывать с опаской.

«Так куда же мы едем?», — как бы продолжая тамбурный разговор, спросил Лёвчик. И тут же сам себе ответил: «А едем мы, брат, в Ташкент. Бывал там?» «Бывал, в командировке». «И я бывал. И не только бывал, а строил там после землетрясения сейсмостойкие «высотки». В составе минского отряда. Ну а по окончании строительства, минчане уехали домой, а я укатил на север. Но Ташкент, брат, будет для нас с тобой лишь перевалочной базой. А махнём мы в глубь Узбекистана. Там сейчас много ударных строек. В Ташкенте

оформим комсомольские путёвки, деньги нам подкинут, и айда!.. Да, а комсомольский билет у тебя цел?» «Цел»: «Вот и чудненько! Ну, так как, с планом моим согласен?» Спирт и перец подействовали: я согласился

Колёса поезда стали выстукивать другую песню: «Всё хо-ро-шо, всё хо-ро-шо!» Впереди была неизвестность, но я уже не страшился её. Ведь был уже не одинок.

РЕБЕ И «ДОМУШНИК»

Знаешь, до сих пор удивляюсь тому, как может судьба человека круто измениться от одной лишь встречи. От одного разговора. Сам тому свидетель.

Еврейская община играет немаловажную роль в жизни нашего городка. Ну а глава общины — это, это... ты знаешь ли: и папа, и мама!

Так вот, идем мы с очень уважаемым портным Иаковом Михельсоном, нашим главой, нашим житейским судьёй и вдохновителем, а навстречу...

А навстречу собственной персоной, Володя Панков. Он же — «Пан», дюжий рыжеволосый мужик с «ручками», способными свернуть любой замок без всяких технических приспособлений. Завидя его, уважаемый ребе Иаков как-то засеменил на одном месте, позеленел лицом. Мне даже показалось, что ермолка на его лысой голове приподнялась и задымилась.

Лёвчик, шепнул он мне, — этот «Пан» «разбомбил» столько «хавир» законопослушных евреев, что ему так-таки впору отрастить пейсы и ходить в синагогу. У него четыре срока. И этот разбойник опять на свободе, что-то будет, что-то будет?

Володя «Пан», заметив нас, снял кепочку и, смяв её в ручище, пророкотал: «Здравствуй, дядя Яков! Как живёшь-можешь?» Ребе Иаков, поморщившись: «С приездом, Володя! Ты вже вишел? Как быстро! Надолго? Таки что, нам новые замки вставлять, так, да?»

Мне показалось, что Володя как-то сник: «Да нет, дядя Яков, надоело. Пожить хочу как все, по-человечески».

Видели бы вы, как расцвёл наш ребе: «Это правда? Ты не шутишь? Так вот, Володя, послушай меня, старого человека: ты очень правильно сделаешь. А мы поможем. Это тебе говорю я — Иаков Михельсон!»

С нашим уважаемым старейшиной — ребе Иаковом я встретился лет через десять. Несмотря на возраст, он был всё также прям, подчеркнута строг в своём достоинстве. За общими расспросами, меня преследовала одна цель: узнать о судьбе рыжего грабителя. И выбрав удобный момент, я поинтересовался: «А как там поживает Володька «Пан»? Ребе оскорблено повернулся ко мне: «Какой Володька, какой Володька? Если ты имеешь ввиду Владимира Ивановича Панкова, то я вот что имею сказать: он очень большой человек сейчас — инженер. И жену мы ему нашли хорошую, да. Это моя младшенькая Рива. А ты — «Пан»! Понимать надо! Посрамлённый, я замолчал. А что тут скажешь?»

ДОМ ОДИНОЧЕСТВА

(Новелла)

Последнее время Он всё реже и реже встречал Её на остановке, и всё чаще и чаще Она привычно и безропотно, в одиночестве, тащила тяжёлые сумки. Привычным маршрутом — в сопку. Привычными были и остановки на этом восхождении: у столба обочь дороги, у валуна, принесённого как-то осенью бурным потоком, у чьих-то гаражей... дальше — полегче: узкая тропка поведёт вниз. И вот, наконец, засветятся целлофановыми бельмами окошки дома. ИХ дома.

У двери навстречу кидались кошки, неведомо как определявшие точное время её прихода. Ласкаясь, терлись о ноги, принюхивались к сумкам, требовали поесть. Она всегда приносила им что-нибудь вкусненькое.

Он, как обычно, лежал на диване, бездумно уставившись в потолок. Рукописи разбросаны по полу, гора окурков в пепельнице. Встречал её неизменным: «Курево не забыла?»

Она могла забыть о том, что в доме нет соли, а про сигареты не забывала.

Наскоро стряпала ужин (а для Нёй это и завтрак и обед), наскоро готовила какой-нибудь салат (если удавалось выкроить на бутылку из заработанного за день) и бросала Ему: «Давай посидим!» Ей хотелось поделиться впечатлениями долгого, трудного дня, хотелось выговориться; но Ему это было неинтересно, и Она замыкалась в себе. Молча мыла посуду, молча прибиралась в доме, пыта-

ясь-создать хотя бы видимость уюта: Когда собирала с пола разбросанные и смятые исписанные листки, восклицала с горькой иронией: «Поэт!»

Усталая, разбитая непониманием, рано ложилась спать (да и вставать-то надо было ни свет ни заря!). Частенько Он будил Её среди ночи и требовал выслушать сочинённые Им строчки. Полу-сонная, Она покорно выслушивала Его. Иногда говорила: «Ничего» (значит, кое-что удалось), чаще отворачивалась молча к стене (значит, никуда не годится), и в такой своеобразной оценке Его «творений» редко когда ошибалась.

Последнее время Она часто плакала по ночам: мучили не столько боли где-то там, внутри, сколько предчувствие чего-то ужасного и неотвратимого.

Выносили Её в конце мая, выносили узенькой тропкой, протоптанной Ею от дома и к дому.

Потерянный и жалкий, Он плёлся сзади, путаясь в набирающих силу стеблях лопухов, и в полубреду шептал: «Как, ну как она могла?.. А как же я? Да... да... Пустота... Одиночество!»

Уставшее от ожидания,

Крыльцо в израненном изломе,

В бельмастых окнах пыльной комой —

Воспоминания.



СОДЕРЖАНИЕ

Семь кругов ада	3
Легенда	4
Семь кругов ада. Рассказ-Быль	4
Примирение. Рассказ	17
Теорема Ферма. Рассказ	20
Последний бой... он трудный самый. Рассказ	24
Учитель. Рассказ	26
Из курсантской жизни	28
Клад «Кармен». Рассказ	29
Метко стреляют курсанты. Рассказ	30
Темные аллеи. Рассказ	31
Охота. Рассказ	33
Цирк да и только!	34
Цирк да и только! Сериал	35
Кое что о кошках	49
Из сериала Житейские истории	55
Кочегар поневоле. Рассказ	56
Новогодние косячи. Рассказ	57
«Миномет на стол!» Зарисовка	59
«Мясники». Рассказ	59
«Ты мне всю коммерцию...!» Зарисовка	61
И Вася запел... Рассказ	61
Из цикла Друг мой Левчик	63
Карусель. Рассказ	64
Абориген. Рассказ	66
Ребе и «домушнику». Рассказ	68
Дом Одиночества. Новелл	69
Содержание	71

Литературно-художественное издание

Виктор Зигангирович УРАЗБАЕВ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рассказы

Ответственный за выпуск В. З. Уразбаев

Компьютерная верстка и оформление Э. Х. Насырова.

Формат 60x90 ¹/₁₆. Печать офсетная. Заказ 2528.
Гарнитура Times New Roman, Тираж 100 экз.

Отпечатано в ГУП РБ «Кумертауская городская типография»
Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, д. 26.